

ЕВРАЗИЯ

Фрагмент романа

Andantino solenne e silenzioso

Я когда закрываю глаза и сажусь в позу лотоса, тут же ко мне из мрака лебедь плывет; и в черном озере отражаются огни.

Много огней. Они вспыхивают и шевелятся в черной, густой, как масло, воде.

Лебедь подплывает ближе и превращается в огромный цветок. В лотос. Я знаю, что это лотос. У него крупные длинные лепестки, они сначала белые, потом внезапно вспыхивают золотом, а потом радужно переливаются. Живой сияющий лотос плывет во тьме. Я не хочу срывать лотос. Я только протягиваю к нему руки и глажу воздух вокруг цветка.

Так и в жизни надо: не брать, не насиловать. Не присваивать. Просто протягивать руки и гладить воздух вокруг своей любви.

Агиос Фос, Агиос Фос. Зачем я, как дурак, повторял эти слова? Откуда они пришли ко мне?

Может, я вычитал их из текстов Сети. Да, скорей всего. По экрану бегал, бегал глазами и наткнулся. Два слова, и на каком языке? Красиво звучит.

А еще губы сами повторяли: Цаган-Сар, Цаган-Сар. Это мне что-то напоминало. Звенящие слова. Звенят, как колокольчики на крыше монастыря. От них пахнет Востоком, но не Ближним, а Дальним. Белыми горами, у подножий бурлит белая вода, вершины обнимают и целуют кудрявые облака. Такие облака рисуют на китайских гравюрах.

Я бы тоже хотел так рисовать. Но у меня своя система. Я не китаец, и не японец, и не кореец, и не монгол. Хотя я могу запросто нарисовать монгольскую танку. Или китайский махровый пион с кровавыми лепестками.

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профессиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Литературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: «Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бельские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг стихов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Беллона», «Солдат и Царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смерти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международного славянского литературного форума «Золотой Витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и Царь», 2016), Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Международной премии им. А. И. Куприна («Солдат и Царь», 2016). Дипломант литературной премии им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).

Я выработал сам свой стиль. Он только мой и больше ничей.

Хотя я благодарен всем художникам, всем философам, всем богам во всех веках, что меня надоумили к себе самому прийти.

А кто же такой я?

Я такой, знаете, немного не в себе. Простой такой русский блаженный. Так меня называли в одном святом месте, куда я попал по своей воле. Сам задумал поехать, и скопил денег, и поехал. Вы знаете, я очень бедный. Временами даже нищий. Но это меня не волнует. Вы все думаете: без денег не проживешь. Еще как проживешь! Я вот бомжевал долго, два года, и ничего. Собирал на улицах, у помоек и в оврагах пустые бутылки, ходил с мешком и собирал, как грибы. Бутылки звенели у меня в мешке. Я радовался: бутылки сдам, пойду в «Спар» и буду долго там ходить и любоваться на всякие умопомрачительные яства, а потом куплю себе еды. Крошечку того, крошечку другого. Очень дорогой еды, но очень понемногу. Колбаски сальчичон сто грамм, сыра с плесенью три кусочка. Крабовый салатик положите, пожалуйста, на дно вазочки! Все, все, хватит. Это много, отбавьте, пожалуйста.

А потом надо подойти к витринам, где овощи, и попросту купить громадный пакет картошки. Здравствуй, милая картошка. Отварю тебя немножко.

На кассе я кассирше любезно говорю: а вы знаете, зачем я к вам в «Спар» пришел? Чтобы спариться с вашей холодной курочкой. Кассирша сначала на меня глядит, как на врага, а потом начинает дико хохотать. И все в очереди хохочут. Ну, мужик, ты весельчак! Ржу не могу! А зачем ты бабий хвост носишь, ты, часом, не голубой? А может, ты йог?

Я выхожу из магазина «Спар», Европа отдыхает, какая тут роскошь. В Европе нет осетров, а тут лежат, пожалуйста. В Европе нет такого творога и такого масла, а здесь горы. И потом, в Европе вот уж точно нет такой картошки!

...А может, это все райское блаженство как раз из Европы, а из наших деревень — только гнилая морковка и червивые яблоки далеко, в темном углу.

Меня зовут Андрей, я Андрей-воробей-не-гоняй-голубей. Так меня дразнили в школе. Фамилия моя Мицкевич. Почему я стал вот таким, немного тронутым? А у меня тяжелое детство было. Папа умер рано. Он был поляк. Его с детским домом привезли из Варшавы сюда, в Горький, во время войны. Какой? Ну конечно, Великой Отечественной, ну не афганской же. Вы же видите, я старый. И весь седой. Седой хвост. Я волосы специально не стригу. Только расчесываю. Расчешу утром, а то, что остается на гребешке, соберу аккуратно, вынесу на улицу, положу на землю и сожгу. Так я делаю в любую погоду. Волосы и ногти нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Это наша плоть. С ней темные сущности могут сделать все что угодно. Поэтому лучше жгите вашу частичку. Она не должна достаться Тьме.

Агиос Фос, Агиос Фос, Цаган-Сар, Цаган-Сар. Колокольцы! Они звенят в мозгу. Мозг — это такой храм с круглым куполом. Там молятся все народы. А когда народы умирают, их выносят из храма и несут на кладбище: на небо. Мать после смерти отца запила и так всю жизнь и пила. Сестры, Марина и Валентина, тоже учились пить. И меня пробовали в это дело мордой, как котенка, воткнуть. Я в отрочестве мог много выпить. В шестнадцать лет наедине, сам с собой, мог бутылку водки без закуски выпить. Правда, потом дрых без задних пяток.

Школу я закончил, не помню как. Аттестат потерял. В аттестате стояли разные цифры, я смеялся над системой оценок. Глупо это все, цифрами оценивать дар или бездарность. Бездарность превратит в дар только чудо. А дар можно потерять

в одночасье. Или даже пропить. Или просто придет Господь, сядет рядом с тобой, выпьет и скажет просто, тихо: «Давай сюда свой дар! Он тебе ни к чему. Я его лучше пристрою».

Потом я одно время играл в вокально-инструментальном ансамбле. Я был бас-гитаристом. Зачем-то нацеплял на лацкан пиджака комсомольский значок. Я бряцал по струнам и даже немного пел. У меня, знаете, приятный такой голос, баритон. Все говорили: учись петь!

Но я точно знал: музыка — не мое дело.

После репетиций я приходил домой и видел: мать валяется на пороге, вся синяя от водки, сестры сидят по углам, одна плачет, другая вяжет. И тоже поддатые, но слегка. И в печи угли тлеют, у нас было печное отопление. Так меня, между прочим, печь всю жизнь и преследовала, эти угли, красно мерцающие в приоткрытой двери, эти дрова горячие, их треск, этот огонь, огонь.

А потом меня взяли в армию. Как раз был призыв.

В армии я хулиганил отменно. Мы ловили жабу и сажали ее на живот спящему старшине, под нательную теплую рубаху. И сразу нырк — по койкам. Старшина просыпался и орал от ужаса. Он не мог быстро вытащить жабу из-под рубахи, путался в складках. Верещал. Жаба там, у него под рубахой, металась, фланель вспучивалась, мы ржали неостановимо. Старшина в ярости орал: «Всех в наряд вне очереди! Всех на гауптвахту! Скопом!» Мы понимали, что всех-то он в наряд не отправит, но хотеть прекращали и притворялись крепко спящими. А бедный старшина, чуть не плача, стаскивал рубаху, жаба выпрыгивала и скакала по полу казармы, старшина ловил ее рубахой и так, закутанную во фланель, выносил на улицу. Он не мог взять жабу голой рукой: боялся бородавок.

Я больше так никогда не издевался над людьми. Никогда так скверно не хулиганил.

Человек, он не достоин унижения. Никто и никогда не должен быть унижен. Это первое правило твоей жизни на земле.

Что есть армия? Служба и служба. И спанье в казарме, просто насмешка над сном: только ляжешь, а уже и вставать надо. Еще есть увольнительные. В увольнительные мы бегали к девчонкам. Там рядом было село, избы с жителями и избы пустые. Почему пустые? Может, хозяев в лагерь или в тюрьму забрали. Притом вся обстановка в домах оставалась. В городе бы давно разграбили, а в селе — да, мальчишки залезали, зеркала камнями били, посуду тащили, скатерки со столов за кисти стаскивали, но все так же висели в красном углу иконы, и качались перед ними мертвые лампы, и вилось на сквозняке кружево занавесок, ветер влетал в разбитые окна, и возвышались на постелях горы подушек, внизу большая, на ней поменьше, потом еще меньше, меньше, и наверху лежала трогательно самая маленькая, думка, — и стояли в солдатском строе рюмки в шкафу, и бегали по пузатым чашкам в буфетах и сервантах солнечные пятна, и мотался под потолком дырявый абажур, а лампу вывернули, лампа в хозяйстве сгодится.

Печально мне было в тех домах, печально и сладко. Там я впервые почувал сладость смерти: и трупную сладость, и небесную сласть, когда все мучительное, подлое уже кончится и ты полной грудью вдыхаешь сладкий воздух эмпирея, жилища блаженных. Да, там бы я хотел жить. Скажете, там не живут? Жизни там нет? Скажете, там тьма? Ну верьте, верьте в это.

Вы еще до другого понимания дорастете. У вас еще есть время впереди.

Вот в таких мертвых домах мы и встречались с нашими девушками. Вы сейчас будете морщиться и отворачивать носы: фу, групповуха! — а для нас слаще этого

дощатого облезлого пола и расстеленных по нему матрацев, слаще этих старых дырявых простынок, на них раскидывались перед нами наши нагие девчонки, наша голая молоденькая жизнь, не было ничего. Ну, вообще мало что могло с этим счастьем сравниться. Каждый на танцах уже выбрал себе кралю. Мы тайком, стараясь не хрустеть мерзлыми ветвями и не переговариваться громко, пробирались в пустой дом. Двери были открыты, давно сбиты замки. Замерзнем, это ясно; самый храбрый из нас искал дрова, самый умелый — растапливал печь. Умелый — это был я. «Мицкевича сюда! Он еще тот истопник, заправский!» Я привычно напихивал в зевло печи сначала мелкие ветки и щепу, совал мятую газету, швырял горящие спички, занималось пламя, потом я осторожно, одно за другим, подкладывал поленья. Огонь гудел. Труба гудела и выла, как собака над мертвецом. Мы передразнивали воющий огонь: у-у, у-у-у! Когда дом чуть прогрелся, а от стен печки шел ровный блаженный жар, девчонки застилали матрацы простынями, вместо одеял мы бросали на пол наши шинели, да когда мы обнимались, эти жалкие укрывашки нам были уже не нужны. Горячие тела, молодые! Радость, шепот из губ в губы!

Там была одна девушка, армянка. Все русские, она одна восточная. Она досталась мне. Ну, впрочем, она мне самому на танцах и понравилась. И это она выбрала меня, а не я ее. Она отвела меня в сторону, все мялись и топтались в медленном танце-обниманце, а армянка закинула руку мне за шею и поцеловала. Не крепко и вза-сос, а нежно. Очень нежно.

И вот как раз тогда я и понял: нежность — вот что самое великое. Нежность, выше ее нет жеста в мире. Навстречу другому — нежность. Любовь — это когда не трахают, а дарят нежность. Любовь — это не я, а ты. Как тебе лучше. Как тебе нежно и чисто, любовь ты моя.

Но если ты не хочешь, я не буду твоей любовью. Я покину тебя, если тебе так лучше.

Я не насиую тебя. Не присваиваю. Я даю тебе свободу.

Моя армянка обнималась на матраце со мной, раскидывала ноги, иногда я сажал ее на себя, очень осторожно. Рядом с нами обнимались другие пары. Всего четыре пары нас было в любви на полу, вроде как четыре стороны света. Можете называть это развратом; я называю и до смерти буду называть это благословением и счастьем. Разбитый графин лунно мерцал на голом столе. Разбитые чашки раковинами выгибались в старом буфете. Может, этот буфет оказался здесь при царе, еще до революции. Здесь пахло стариной, воском и медом; от тепла оттаяли и ожили летние мухи, они жужжали и пытались летать по дому, но, слабые, падали на половицы и нам на спины и головы. Моя армянка лежала подо мной, и я нежно целовал ее закинутое лицо. На ее лицо падал свет луны из окна. Разбитое стекло мы загнули старой тряпкой. Но все равно уходило, уходило тепло.

Утром, затемно, еще звезды горели в небе, мы уходили из дома нашего счастья. Застегивали гимнастерки, надевали шинели. Девушки поправляли нам воротники. Они поднимались на цыпочки и целовали нас, и их щеки были мокры от слез. Мы все выходили во двор. Упавший забор лежал на снегу. Снег скрипел и кряхтел под сапогами, под валенками. Мы отделялись от девушек и шли по дороге вон из села, шли все быстрее и быстрее, и у околицы останавливались, как по команде, поднимали руки и махали девушкам на прощание.

Они махали нам.

Мы не знали, когда мы встретимся снова; старшина говорил, что нас внезапно могут снять с места и отправить на юг, в воющую страну. «В Афганистан, что ли?» — пытались мы старшину. Он отмалчивался.

Армия моя закончилась в срок. В Афган мы не попали, билетов не достали, мороженое ели — эскимо. Я вернулся домой. Мать спивалась. Сестры повыходили замуж. Навещали мать, помогали ей. Первое, что я сделал, хорошо истопил матери печку. Она шупала дрожащими пальцами лысеющую голову, пыталась меня обнять, и только совалась ко мне, чтобы обхватить меня руками, как ее тошнило и рвало. Я мыл пол, укладывал мать на кровать и долго сидел рядом с ней, держал ее за руку. Со стены на нас смотрел с фотографии мой мертвый отец. Он умер рано, поляк Валентин Мицкевич, ему было всего тридцать лет. Он не пил, не курил, отчего умер, никто мне не сказал. Мать пожимала плечами: не знаю, просто пришел с работы, лег на лавку в прихожей и умер. И все.

Может, он умер от тоски по родине. По Польше.

От тоски умирают, это правда. Тоску ничем не забьешь. Не убьешь. Она очень живучая.

Настал срок, я женился. Эту девчонку я знал еще до армии. Веру. Имя-то какое у нее, Вера. И я в нее поверил. И до того она была хорошенькая! И очень молодая. Мне девятнадцать, ей шестнадцать. У нее челка до бровей, у меня волосы длинные, как у битлов. Я из армии письма писал одновременно Вере и ее подруге Рите. Как-то так получалось. Они обе мне глянулись. Но я вовсе не думал жениться. Щипал гитарные струны в своем ансамбле, обучился ремеслу краснодеревщика и делал в одной мастерской шкафы и стулья. Мастерская располагалась в сарае. Потом мы перебрались в подвал.

Так через всю жизнь и пошло-поехало: сараи, подвалы, чердаки, опять подвалы и сараи. А где еще жить философу?

Да, я стал философом. Потому что женился. И женился на Вере. Внезапно. Зашел к ней домой, на Автозаводе жила она. Вижу, сидят они с Ритой за столом и пьют чай с баранками. Меня пригласили выпить чашку. Я сел, выпил горячий чай, обжег себе глотку, вдруг встаю и громко говорю: Вера, выходи за меня. Она засмеялась от радости! А Рита заплакала. Так громко зарыдала и убежала в другую комнату, я пошел за ней, чтобы утешить ее, вижу, она на коленях кота Верочкиного держит и возит по нему лицом, шерстью, значит, слезки вытирает. Я сунулся к ней, чтобы ее обнять и утешить, а она как швырнет в меня кота! Кот мне лицо оцарапал. Глубокие отметины когтями оставил. Вера вызвала «скорую помощь», меня в больницу повезла, боялась, раны загноятся.

Поженились мы, а где жить? Сняли на Автозаводе комнатенку, у бабки, что ютилась в домике возле Северной проходной. Верочка немедленно родила мне погодков: Софочку и Юру. Софочка красавица, вся в мать. Юра красавец, весь в меня. А у меня тяга к краскам. Холсты на скопленные гроши в салоне покупаю, бумагу красками мараю. Тюбики, в них масло! Акварель, окунай кисточку в банку с водой! Я Вере заявляю: «Я буду художником!» А она мне так злобно: «А я сапожником, да?!» Я поступил в художественное училище, проучился там два года и бросил. Надо было кормить детей. Надо было работать.

Когда я из училища уходил, покидал мольберты, холсты, жадно напоследок вдыхал дух пинена, мне учителя говорили скорбно, как будто держали речь над моей могилой: «Жаль нам тебя, Андрюша, ой как нам тебя жаль. Ты талант. Зря ты уходишь. Заест тебя жизнь».

И верно. Жизнь меня заела.

Заела для того, чтобы я распрощался с ненужным телом и главным во мне стал дух.

Дух — это главное. Человек работает с духом. Он живет в мире видимом, да, но живет он только миром невидимым. Сначала он живет бессознательно. Ест, пьет, лю-

бится, спит. Как заведенная машина, шастает на работу. Хоронит близких, выпивает рюмочку на кладбище, заказывает панихиду и сорокоуст в церкви. И потом наступает время, и он сам умирает. Угасает, кто тихо и мирно, кто попадает в катастрофу, кто бесполезно борется с неизлечимой хворью. А смерть, вот она. От нее не отвертись. И человек подходит к этой черной черте, и тут его внезапно прошибает: а я-то, что же я в жизни сделал, неужели только ел,пил, бессмысленно вкалывал и беспробудно спал?

Хорошо еще, если человек задаст себе такой вопрос. А то еще и не задаст. Не сможет. И не захочет. Потому что он всю жизнь жил в бессознании к сознанию так и не пришел.

А кое-кто и сознает, кто он и зачем он тут. Сознать это, особенно впервые, часто очень мучительно. Человеку больно сознавать, что он конечен. Больно сознавать, что он бессилен. Больно сознавать, что он не может победить ненависть любовью, потому что часто любовь сильнее ненависти. И вот тут человек, оставаясь один, часто в голос кричит от боли! Потому что у него через сердце прорастают ростки любви. Любовь — это боль. Не каждый эту боль выдерживает.

И если выдерживает, поднимается на новую ступень. На ступень осознанной жизни.

Что такое осознанность? Это значит, ты видишь путь. Ты идешь по нему. Ты ясно видишь прошлое: свое и людей. Ты верно оцениваешь настоящее. Ты провидишь будущее. Вот был такой парень Нострадамус, он много чего видел наперед. И все это записывал. Его стихи до сих пор разгадывают, и каждая эпоха расшифровывает их по-своему. И много пророков на земле было, и все они осознали время, путь, себя, Бога.

Я, раздумывая обо всем этом, часто отрешался от мира. Верочка меня в магазин посылает: поди детям кефира купи! — а я в отхожем месте сижу, курю, для отвода глаз газетой шуршу. А сам думаю о бессознательном и осознанном бытии. Вера кричит: «Ты что, сдох там, что ли! Или у тебя понос! Или тебя кондратий хватил! Что ты там делаешь, дрянь такая, бездельник, паразит, козел вонючий?!» Это так ласково она со мной беседовала. Я голос подаю: «Сейчас иду! Тут статья такая интересная!» — «Про что статья, дурак ты?!» — кричит жена. «Про то, как Горбачев приказал спилить все виноградники!» — кричу я ей в ответ.

Потом кран открываю, и долго, долго льется вода.

Я не хочу выходить из туалета. Я хочу думать о жизни и смерти и быть наедине с собой.

И все же я шагаю в бешеный человеческий мир, беру сумку, беру из рук у Веры серебряную и медную мелочь и иду в магазин. И прихожу домой с батоном, килькой и кефиром.

А Верочка, пока я в магазин ходил, уже попробовалась водочки. У нее всегда под столом в спальне стояла бутылка. Я, когда женился на ней, даже не обращал внимания на то, что Верин отец старый алкаш: разве девочка пьет, разве женщина, мать будет пить! Знаете, еще как будет. Еще как Вера пила, так умело, так помногу, и с закуской, и без закуски, как мужик пила, мою мать она в питии обскакала и своего отца обскакала, и когда на праздники собирались в квартире у моего тестя мужики и бабы, Верочка круче всех пила, рюмку за рюмкой в рот опрокидывала, и я хватал ее за локоток: хватит! — а она стряхивала брезгливо мою руку, как паука: отстань! Я сама меру знаю! И сама себе цену знаю!

Она не знала себе никакой цены. Только притворялась, что знает.

Красавица была, да. Челка густая, шелковая, налезала на ярко горящие глаза. Шейка тоненькая, высокая. Фигурка как у куколки. Ножка крохотная, как у Дюймо-

вочки. А кожа такая нежная, что кажется, проведи по ней шершавой грубой ладонью — и царапины вздуются и вспухнут. И вот представьте, эта куколка заливает в себя водку литрами, как мужик, матерится, нигде не работает. А дети растут; и это я, я их ращу. Выращиваю, как свеклу, как морковку. Кто будет урожай собирать?

Они в школу — мать к бутылке. Они есть хотят — мать ведет домой компанию, народ пьет-гудит, а детки под столом сидят, может, им, как кошкам или псам, какой кусок со стола бросят. Я барменом в кафе кинотеатра «Спутник» устроился, работа через день, денежка небольшая, с работы прихожу, измочаленный, а дома гульбище! Дети ко мне бросаются: папка, накорми! Я им кашу варю. Овсяную. Сразу много. Как собаке варят: целую кастрюлю, и туда, в кашу, кость кладу, ну, чтобы наваристей было. Стою у плиты, а из гостиной крики доносятся, визги: Верка, где твой благоверный, давай его сюда тащи, пусть выпьет с нами! Мужик он или не мужик!

Мужик ты или не мужик, а я его по морде вжик... Песенка какая-то жуткая привязалась, не отвяжется... Я выходил из кухни к гостям в фартуке, с ложки на пол капала каша. Вы, люди, говорил я тихо, и визжать прекращали, и все умолкали, пытались меня слушать, вы, люди, вы же люди, не звери, вы что орете как резаные? Вы зачем пьете до полного свинства? Напьетесь, и лежите на полу, и мочитесь, и блюете, а потом уползаете, расплзаетесь по домам, а я тут за вами убираю? Вера, зачем ты так живешь? Вера, ведь у тебя же дети!

Верочка только хохотала. Запрокидывала голову, закрывала длинными ресницами свои яркие, как лампы, глаза и закатывалась в хохоте.

А потом гости исчезали, и накормленные дети, со слезами и кашей, размазанными по замурзаным щекам, засыпали, и мы с Верой ложились спать в общую нашу, утлую кровать, и я обнимал ее, ее худую потную спину, целовал ее нежную тонкую шейку, ее шелковый пьяный живот, и она вздрагивала всем телом под моими ласками, а когда я ложился на нее, она смотрела остановившимися глазами вверх, в угол под потолком, оттуда свешивалась невидимая паутина, я делал свое мужское дело, а она смотрела, тоскливо смотрела вверх. А потом тускло, пьяно спрашивала меня, и язык у нее заплетался: ну ты, Андрюха, кончай уже, ты скоро кончишь или нет?

Но, знаете, я благодарен моей жене. Именно с такой женой и можно стать философом. А кто такой философ? Это художник. А кто такой художник? Это тот, кто посредством образов, линий, красок и пятен, символов, знаков, письмен доносит до других, несмышленных, бессознательных, счастье высшего сознания.

Тот, кто напрямую работает с небесным светом.

Свет небесный. Думаете, это жизнь? Нет, это смерть. Да вы не бойтесь смерти! Вы, когда слышите это слово, вздрагиваете от ужаса, вас прямо передергивает от страха. Бросьте! Смерть — это не пугачка. Не фильм ужасов. Смерть — это и есть жизнь. Понимаете, мы рождаемся в смерть, а умираем в жизнь. Смерть — это превосходный опыт. Это переход, а за ним настоящая жизнь. И дело не в том, что об этом сказал Христос. Иисус многому хорошему учил, и вина людей, что они эти уроки не слышат, не видят вот уже две тысячи лет.

Вера рано начала мне изменять. Я терпел. Молчал. Меня приятели в бок кулаками толкали: избеи! Пьет, гуляет! Станет как шелковая! Я жену никогда не бил. Бить, что такое бить? Бить — это значит расписаться в бессилии. Бить — это значит себя убить. После того, как ты избил женщину, ты уже не жилец. Ну то есть ты живешь, понятно, ты не в гробу, а бегаешь по земле, но все, ты уже умер. Тебя нет.

Это так, не спорьте. Среди нас ходит множество таких мертвецов. И некоторых я узнаю в лицо. А иные носят маски, их не сразу отличишь.

Жарким летом не помню какого года я Верочке сказал: «Я еду на Тамань. Копать древний греческий город. Гермонассу». — «Где это?» — изумленно спросила жена. «На юге, — ответил я, — я оттуда нам фруктов привезу. Готовь два пустых чемодана!»

И Верочка приготовила мне два пустых старинных чемодана. Картонных, твердых, обтянутых свиной кожей, выкрашенной в красный, кровавый цвет.

Я записался в эту экспедицию, когда узнал, что там за работу денег дадут. И приличных. Мне надо было кормить жену и детей, а меня, недоучку, нигде не брали. Однако вся квартирешка наша была утыкана моими холстами, какие сохли, какие стояли сырые, и об них пачкались дети, и жена вопила пьяно, дико: «Леонардо... недовинченный!»

Я очень хотел рисовать. Вернее, не я хотел. Мною хотел это делать Кто-то другой.

Кто? Я все гадал. Светлая сила или темная? Бог стоял за моим плечом и водил моей рукой или дьявол? Дьявол запросто мог переодеваться в Бога, я уже тогда знал это.

И потрясся я в пассажирском поезде в Тамань. Доехал до Краснодара-Главного, от Краснодара трясся в автобусе. Чуть не умер от жары. Раскопки на обрыве, у самого моря. Море серое, зеленое, мутное, у берега колышутся длинные темные водоросли. Поодаль пасутся два быка. Пастух приходил лениво, помахивал плетью, кричал: «Быча! Козя!» Быча и Козя быков звали. Мы к ним подходили, гладили их по белым звездам между рогов. Смирные они были, не бодались.

Парни ковырялись в раскопе, девчонки варили обед. Суп из пакетов, гречневая каша. Вечерами парни бегали в совхоз «Таманский», приволакивали оттуда трехлитровую банку сухого вина, его почему-то называли «Писистратик». Банка быстро заканчивалась; меня отряжали за другой. Я легко бежал босиком по заросшему, одичалому полю, среди полыни и ромашек, в небе вспыхивали первые звезды, все мое тело играло и пело среди степи, разнотравья, под мелкими звездами, я разрезал собой воздух, будто плыл в море. И я бежал тогда и понимал: счастье — вот оно, счастье. Я счастлив.

Обратно, с банкой вина, я уже не бежал, а размеренно шел, страшась вино пролить. Археологи встречали меня воинскими безумными кличами. Прыгали, как дети, в восторге. Мы глотали, хлебали теплое кислое вино прямо через край банки, улыбались друг другу.

Это было такое наше радостное степное причастие. Мы, никто, не знали, что это причастие.

Но мы причащались счастья, воли и моря.

Два пустых чемодана я и правда набил фруктами: грушами, персиками, абрикосами. Пока двое суток ехал до Горького, половина персиков и груш сгнила. Мы дома открыли чемоданы, и дети заревели: «Папа, почему все грушки порченые?!» Я брал гнилую грушу в руку, мякоть ползла между пальцами. Верочка презрительно пнула чемодан. «Дурак!» — сказала она веско и ушла в кухню. Она была трезвая как стеклышко.

Я сам сварил в кастрюле оставшиеся в живых абрикосы и персики. Бухнул чересчур много сахару, и получилось не варенье, а сладкий цемент.

Там, в Тамани, в степи, под звездами, когда все засыпали в палатках, я сидел, скрестив ноги, положив руки на колени, и медитировал. Я старался ничего не думать. Изгонять из себя ум. Я растворялся в этом мощном, густом и терпком запахе

степных цветов и трав, в дрожащем теплом мареве, исходившем из земли, из ее выгибов, ям и сухих трещин; я глубоко вдыхал жаркий ночной воздух, и вдруг откуда-то веяло соленой прохладой, и я знал, это море целует меня солью и ветром. Я закрывал глаза, и перед глазами шевелились длинные зеленые волосы водорослей. Женские волосы. Я мысленно перебирал их, целовал их. Я воображал себя рядом с ласковой, нежной женщиной, и вот она плачет от счастья соленым теплым морем и обнимает меня руками, втягивает в себя, как в темную воду, обнимает меня землей. Земля, шептал я беззвучно, я когда-нибудь лягу в тебя, и мне будет так хорошо, как никогда не было ни с какой женщиной. Земля, ночь, жизнь, вы же все женщины. Сильнее женщины и счастливее ее нет никого и ничего в мире для бедного мужчины. Мужчина — одинокий скиталец. Он ищет, к какому берегу прибиться. Да везет не всем. Не всем.

Мне рассказали про ламу Итигэлова и про то, как он вот уже много десятков лет в Бурятии, в Иволге, сидит в дацане, и медитирует, и жив. Он умер, и он жив — вот что он сделал со своим телом. Нетленный и драгоценный, говорят о нем буряты; у нас в экспедиции в Тамани был бурят из Улан-Удэ, Домбо Мухраев, и он видел ламу Итигэлова. «Лама сидит под землей, на глубине почти трех метров, в кедровом коробе, вокруг ламы насыпана соль, и вокруг короба тоже насыпана соль. Он дышит очень медленно. У него внутренности теплые. У него кожа теплая. Врач измерил его биотоки. У него сознание шестимесячного младенца. У него растут волосы и ногти. Он погрузился в состояние самадхи пятьдесят лет назад. И ни следа тления. Ты знаешь, Андрей, тебе надо его увидеть». — «Нет, — помотал я головой, — мне не надо его увидеть, чтобы поверить. Я и так вижу. И так верю. Я тебе больше скажу. Я вот так же не умру, как он. Я тоже Будда». Мухраев воззрился на меня. Я видел, он сначала хотел возмутиться и грубо обозвать меня, оскорбить как-нибудь побольнее, защищая своего священного, густо посыпанного солью хамбо-ламу; потом расхохотаться. Но он вздохнул один раз, другой. Закрыв глаза и так постоял немного. Потом открыл глаза, и я заглянул ему в глаза, и мы светло улынулись друг другу. «Я все понял, — тихо сказал Мухраев. — Ты Будда». Тогда я испугался и решил обратить все в шутку. «Или сумасшедший».

Мы долго и легко смеялись. Но легче на душе не стало.

Уйти бы в Иволгу, уйти бы в Иерусалим! Я думал о святых местах Земли. Земля прогнила вся, сгнила, как та таманская груша в чемодане, но светились на ней в темноте мира особые круги, круги света, и важно было, пока ты живешь, войти в такой круг. Хотя бы в один.

Я мечтал о храме Святой Елены в Париже. Об Ангкоре, священном городе кхмеров. Я хотел увидеть пещерные храмы в Аджанте, стоять на коленях, сложив на груди руки, в храме Кандарья-Махадева в селе Кхаджурахо. О Стоунхендже, из-за огромных кромлехов там встает солнце, горит между вертикальных валунов белая ледяная луна, и можно услышать, как гудит под ногами земля, летящая сквозь войны и слезы, танцы и костры. Я мечтал о городе Капилавасту, где родился Будда Шакьямуни, царевич Гаутама; о городе Лхасе, где можно целовать камни, и твои губы сами поймут, что такое дзен. О храме Гроба Господня, где каждый год зажигается Благодатный Огонь. Мне сказали: если он однажды не вспыхнет, земля погибнет в этот год. Поэтому все так напряженно ждут огня во храме, истово молятся, стискивают руки.

Агиос Фос, Агиос Фос. Нет разгадки. Нет ответа.

Ты сам для себя загадка, сам и разгадка.

И вот, поскольку я не мог поехать далеко, к дальнему святому Кругу Света, я выбрал, что поближе.

А ближе всего было Дивеево, обитель Серафимушки Саровского.

Давно меня этот святой старец привлекал. Я о нем сначала прочитал стихи, такую маленькую книжицу, а там все про Серафимушку, и все стишками. Да складными какими. Я читал их вслух, шептал, всю поэму так и прошептал, а потом начал сначала. И потихоньку запомнил, и сам про себя повторял.

А потом прочитал о нем в старинной книге толстой. Разгромили рядом с нами мастерскую мертвого художника. Художник этот раньше иконописцем в церквах работал, иконы малевал и фрески. Мне его фамилию тогда сказали, да я тут же забыл. Тиуков вроде, а может, Пауков. Не помню. Он не только иконами, и живописью занимался. Когда мастерскую грабили, по снегу, по сугробам и грязи разбросали множество крохотных картонок, а на них — мир видимый: яблони, пески, речушки, люди в длинных одеждах купаться идут и уж тряпки с себя стаскивают, в прозрачную воду лезть. Живописные приемы у него были такие размашистые. Толстые, густые мазки. Выпукло писал. Ярko, краски на снегу издали светились. Люди растащили, а потом дворник пришел, все сгреб и выбросил в железный контейнер. Я успел спасти не живопись. Икону. Малюсенькую иконку преподобного Серафима Саровского.

Принес домой, поставил в шкаф, под стекло.

А ночью, когда Верочка дрыхла, неистово храпя, подходил, отодвигал стекло, вынимал иконку и нежно целовал.

И вот к нему-то, к Серафимушке, я и собрался в гости.

Родной он мне был.

Накопил денежек, купил билет на автобус до Дивеева. Собрал рюкзачок, на спину взвалил, ни с кем из семьи не простился. Пусть думают, ушел работать. В бар на сутки, белая рубашечка, галстук-бабочка. Полотенце через руку. Нагнуться ниже, еще ниже, сгорбить спину. Чего изволите? Кофейку чашечку? Какого: эспрессо, капучино, по-турецки, с перцем и солью?

Соль, видите, ее даже в кофе кладут. Везде она.

И на спине нашей она выступает, если уработаешься.

Автобус бежал вперед на четырех своих колесах, я закрывал глаза и просветлялся. Медитировать я мог даже в автобусе, даже при ходьбе. При ходьбе я повторял ту молитву, которую повторял про себя, внутри себя, молча, батюшка Серафим: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного». Очень мне по душе была эта молитва. Когда пьяная Вера на кухне била посуду, выливая из кастрюли суп, шмякала кусок мяса об кафельную стену — я эту молитву повторял.

Еду, еду. Еду долго. Наконец приехал, высадили нас. Я спросил, где монастырь. Мне указали. Иду, долго иду. Растет перед мной белая колокольня. Подхожу ближе, иду, иду — и вдруг падаю! На земле растянулся, как последний придурок! И встать отчего-то не могу, колочу руками и ногами по земле. А вокруг хохочут. Но никто, заметьте, руки не подает, сам, мол, справляйся. А то и Серафимушка поможет! Я помолился и встал. Лицо оцарапано острой щеченкой, ладони тоже. Колени разбиты, кровь выступает под штанами. А место-то ровное, ровнехонькое. Ни булыжника, ни доски, ни проволоки натянутой, дороги поперек. У меня даже пот на спине выступил. Как это так? На ровном месте грохнуться? И тут я сообразил: так меня проверяют. Ну, грешен я или чист. И как я к падению своему отнесусь.

Все мы идем и падаем.

Но не все поднимаемся.

И не все, поднимаясь, собирая себя, разбитых, по костям и осколкам, продолжают Бога хвалить.

Никто из нас не Иов. Но ведь Иов был. Был! Был реально! И дома его, и дети его, и скот, и драгоценности, и рабы его! Все у него было! А потом всего не стало. И сидел Иов при дороге, покрытый язвами проказы, паршой и песью, и протягивал руку, милостыню просил. А все мимо шли. И кто давал, клал с отворачиванием в изъязвленную ладонь хлеб и деньги, а кто и плевал в него, а кто и смеялся, обнажая веселые зубы.

А кто и пинал его вообще; в грязь ронял.

И что? Сидел прокаженный Иов в канаве у дороги и Бога хвалил.

Он ни на минуту не переставал верить в него.

Так и я тогда. Поднялся, отряхнулся, руки саднят, колени кровоточат, а я Бога хвалю. Мне говорят: ты, парень, ступай вон туда, там источник святого Серафима, зайди в воду, окупись три раза, и всю боль как рукой снимет и всю грязь смоет! Я-то понял, про какую боль и про какую грязь мне толковали. Пошел, до источника дошел. Рюкзак сбросил наземь. Источник маленький, но, вижу, яма с водой глубокая. Как полезу? Разденусь догола? Нельзя, тут женщины. Стоят в очереди, окунуться. Женщины в рубахах, таких белых, до земли, вроде в ночных, а может, специально для омовения пошитых; мужики в кальсонах, а кто и просто в трусах. Ну, думаю, в одежде нехорошо, к Серафиму неуважительно, разденусь до трусов! Разделся, а забыл, что у меня трусы рваные. На зад у дырка, и приличная, руку можно просунуть. Девчонка в белой рубашке на мой зад покосилась и приснула. За ней другие захохотали. Бас над толпой купальщиков сердитый раздался: а вы что смеетесь? Нечестиво это! Милости в вас нет, люди!

Милости... милости...

Все умолкли враз. Хохот стих. И почему-то передо мной расступились, будто я был царь, священник, владыка или сам Господь. И как-то склонились все, скрючились, сгорбились, будто у меня, голого, попросить благословения хотели. У меня аж сердце замерло. Как во сне, двигался. Медленно подошел к источнику, вот лезть в воду надо. Сзади, за спиной, шепот: «Холодная...» Я понял, кто это шепчет. Дьявол это, и губы его, как белые черви, шевелятся.

Я дьявола не слушал. Шел вперед. Там земля такая сухая, под ногами осыпается; а дальше идешь, в воду когда вступаешь, там размытая мягкая глина. Ноги мои пальцами глину щупают, вминаются в нее, ее ласкают. Ласкать ведь можно не только руками, но и ногами; а превыше всего ласкать в любви можно и нужно душой. Обними меня глазами, обними меня душой! Как пред строгими богами, я перед тобой одной. Обними меня покрепче да прижми к своей груди: мне так будет много легче позабыть... и перейти...

Это кто так пел? Человек по имени Чиж? А может, чиж по имени Человек? Все равно. Вода обожгла меня. Подступила к горлу. Сверху закричали: окунайся, паломник! Я набрал в грудь воздух и окунулся. С головой.

Что случилось со мной там, под водой! Вот никому не рассказывал, а вам расскажу. Я там, под водой, в купели, глаза открыл. Как жаба, как рыба. Веки распахнул. Иной мир. Надо увидеть. Надо, чтобы вода влилась в глаза. Прозрачный свет, холод, рядом тьма, и близко свет. Свет и тьма сплетаются, борются. Обнимаются. От них не уйти. Так люди тонут во тьме. Так они погружаются в свет. Святая вода, ведь это же вода света. Свят, свет. Все одно. Не различить.

Там, под водой, я внезапно увидел всю свою жизнь. Она, моя жизнь, повторялась, отражалась в бесконечных водяных зеркалах. Зеркала уходили в глубь пространства, выстраивались в ряд по темной дороге, внутри водной толщи. И в каж-

дом зеркале был я. Меня было так много, что я себя испугался. Не надо! — хотел я крикнуть. Уберите всех этих людей и оставьте в одном зеркале одного меня! Только меня! Но я широко раскрытыми глазами глядел на свои бессчетные повторения, и я понимал, что да, вот так я повторяюсь, в иных веках, а их будет еще много, в иных мирах, а их без счета, в иных войнах, а их с востока и с запада идет несметно, и надо много земных солдат, чтобы те войны переплыть. Нет! Надо много богов, и земных и небесных, чтобы те войны — остановить! Какие это боги будут? Как их будут звать? А может, это будут не боги, а богини? Хватит уже мужиков, слишком много в богах силы, нужна женщина, в ней вместе и сила и нежность!

Так, может, новый бог — это будет женщина?

Новый бог! Эй, ты святотатец! Нет Бога, кроме Христа, ибо Он воскрес! Читай Иисусову молитву, дурень!

Кто это крикнул надо мной? А может, прошептал?

Я, сидя под водой, прочитал мысленно: Господи Иисусе Христе, сыне Божий... — и сказал спасибо всем зеркалам: спасибо тебе, Господи, что Ты дал мне увидеть меня в годах и в веках, меня как всех людей, ибо все на свете люди — это и есть я! И как только я прочитал Иисусову молитву и поблагодарил Бога с его тысячью зеркал, где отражается тысяча душ, меня мощная сила вытолкнула из воды, я вылетел наружу, темечком кверху, и я опять увидел землю и людей на ней и дышал тяжело, хватал ветер ртом, зубы мои стучали чечетку, я мерз на ветру и ежился, крючился и смеялся от счастья, и люди вокруг кричали: окунайся еще! Еще! Три раза надо окунуться!

Я глубоко вдохнул и нырнул еще раз. Вылетел из воды как пробка. «Третий раз!» — мне кричат. Я глаза выпучил. Опять воздуха глотнул — и погрузился в воду с головой. Выскочил. Стою, дрожу. Зубами стучу. Не могу с места двинуться. А на душе так легко, прекрасно, счастливо. Эх и счастливый я стал тогда! Счастливее Бога!

А что смеетесь, Бог, Он тоже человек. Если человека Он создал по Своему образу и подобию, то, значит, и Он человек, тут даже сомнений быть не может никаких.

Вылез я из купели. Полотенца у меня нет. Мне его протянули сердобольные люди. Я растерся насухо, оделся. Ободранные руки, локти и колени перестали болеть. Мне указывают: во храм, во храм иди! Я тихо пошел и глубоко дышал. Церковь большая, белая, свежеевыкрашенная. Вошел внутрь. Службы нет, читают часы. Я подошел к иконе, странная она, как картина. Там сюжет: красивая женщина стоит перед Серафимом, а Серафимушка перед красавицей на коленях. И лицо умильное, поднял к ней лицо и сложил на груди руки, ладонь к ладони приставил — так и индусы руки складывают, творя намасте. Дошло до меня: это Богородица стоит перед багюшкой Серафимом, в короне с яхонтами, с павлином на плече. Я жадно изучал, как художник написал Ее лицо, как выписал носик, глазки, бровки круглые, восторженные. Уж такая милая! Такое ощущение у меня было, что картина мироточит. Я подошел ближе и украдкой потрогал поверхность. Холст. Крупнозернистый. Краска масляная. Очень тонко наложена. Тончайшие лессировки. Но миро, конечно, никакое по холсту не ползло, а жаль.

И все же, когда я поднес руку к лицу, я вдохнул странный нежный, тонкий запах. Ему я не нашел объяснения. То и дело я подносил к носу ладонь и нюхал ее. Миро, чистое миро! Мне стало казаться — рука моя в душистом масле. Я перекрестился ею. И встал перед этой картиной на колени.

Я стоял на коленях и молился Серафимушке и Богородице, каменные плиты церкви холодили мне разбитые колени. Я подумал: как же можно над молитвой смеяться! Кому-то верующие в Господа кажутся придурками. Как можно смеяться над верой! Смело и свободно! Открыто и нахально. Смейся не хочу. И не только

смеяться, но и даже издеваться. Иронизировать. От иронии до убийства — один шаг, шагочек. Черствая душа быстро двигается к жестокости. А жестокость — она не просто глумление над святым. Верь себе в святое, верь на здоровье, я не верю, ну я просто мимо иду, тебя, дурака, не трогаю! А жестокости надо обязательно причинить боль. Как ее причинить? Обидеть. Растоптать. Ударить. Убить. Цепочка простая и стальная. Звенья не расцепить.

Вот так бы нарисовать картину! Вот такую!

Чтобы перед нею вставали на колени и молились.

Неужели мне удастся создать когда-нибудь такое полотно? Неужели я сподоблюсь такого счастья, и перед ним будут от счастья замирать люди? Это редко на земле бывает. Но все же бывает. Художник не к успеху идет, совсем не к нему. К успеху идет только рыночный торговец. Ему важно быть знаменитым, чтобы как можно дороже продать свой товар, и как можно больше товару, горы, мешки, и хорошо заработать. Торговцу надо кормить детей. Да ведь и художнику надо кормить детей! Только художник сидит себе в мастерской, сосет лапу, как медведь, и пишет то, что не продается.

А потом художник умирает.

А потом, через сто лет, через двести, его картины находят на чердаке или в подвале, и они вдруг начинают стоить дорого, очень дорого, страшно дорого, столько не стоят ни золото, ни бриллианты, ни платья, ни шубы, ни дома, ни машины. Одна картина этого забытого мертвеца стоит столько, что на эти деньги он, живой, мог бы купить себе дворец и в нем безбедно жить до конца дней. Жить и работать в счастье. Писать свои полотна.

Стоп. А если внутри счастья он не мог бы рисовать?

А зачем рисовать великое горе, когда тебе еду на золотых блюдечках подают?

А зачем писать великое счастье, когда у тебя есть рядышком свое, невеликое, малюсенькое, уютненькое, славненькое?

Я стоял в храме на коленях и крестился, рука моя летала, душа пела, я, подняв лицо к Серафимушке и Богородице, беззвучно пел хвалу и славу им обоим. Издалека, от царских врат, доносился монотонный голос. Женский. Девушка, а может, женщина, а может, старуха читала ежедневные церковные молитвы. Все по правилам. Все по расписанию. Везде расписание, и везде дисциплина. Строгий обряд. Не смей его нарушить. Так во всех храмах, не только в православном. Никогда я не был в гостях у Будды, но представлял: так же духмяные свечи горят, такие же лампы, лики азиатских святых смотрят со стен и такая же позолота на буддийских иконах, они их называют танки. Танки, винтовки, пушки — к бою!

Так, милый, в храме шутить нельзя.

Я разогнул спину и встал. Мимо меня проскочили, прошуршали черными юбками молоденькие девчонки. То ли прислужницы, то ли послушницы, да какая разница. Они покосились на меня, и я услышал, как одна хихикнула, а другая что-то прошептала. Я понял: они смеются над моим конским хвостом, затянутым резинкой.

Я вышел на улицу, солнце палило. Пошел по дороге. Вижу, озерцо. Пруд, и лягушки квакают. Я подошел ближе к воде, сел на берегу, снял рюкзак и вынул из пакета бутерброд с сыром. Сыр засох. Хлеб зачерствел. Лучше этого засохшего бутерброда ничего в жизни не едал. В пруду плескалась мелкая рыбка, может, монастырские караси. Белый монастырь возвышался вдаль, как политый белой глазурью пряник. Пели птицы. Воды с собой я не взял, так наклонился, зачерпнул в пригоршню и попил прямо из пруда: грязная, да, но не заболеть, нет, здесь же все святое.

И тут глаза мои скосились, повело их вбок, будто их кто-то за ниточки потянул, и я взглядом наткнулся на странный камень. Он лежал в траве, в приозерной

осоке. Я дожевал хлеб с сыром, протянул руку и цапнул камешек. Он был величиной с мой большой палец. На одном его боку была процарапана буква М, на другом просвечивала изнутри человеческая голова. Лицо. Я узнал лик Серафимушки. И буква, и лицо были нерукотворные. Я крепко зажал камень в кулаке. Он согревал мне руку. Чем дольше я держал его в руке, тем горячее он становился. Настал момент, когда я больше не смог его держать, так он разогрелся. Я бросил его на землю, себе под ноги. Камень лежал ликом вверх. Серафимушка улыбался мне.

И тогда я наклонился, взял камень, поцеловал его и утолкал в рюкзак.

Я все понял, понял сразу: М — это Мать, ну, значит, Богомать, а еще Молитва, а еще я сам, Мицкевич; а Серафимушка — мой покровитель, мой отец в духе, духовник мой, там, в небесах. Они, Серафимушка и Богородица, мне навсегда, на всю жизнь послали о себе память.

Скажите, мистика и бред сумасшедшего? Ну так я же и есть блаженный. Я известный придурок. Мне и жена моя Вера так всегда говорила. Таким уж меня мать родила, мне что, теперь к ней в утробу попроситься: мама, роди меня обратно? Давно уже в сырой земле моя мать. Спилась она вчистую. А вот я пить бросил давным-давно. Когда однажды, с друзьями, после армии, крепко набрался, шел по переулку, на меня набросились из-за угла, я развернулся, мышцы у меня были молодые будь здоров, стальные шары, мускулы железные, я только махнул кулаком — и мужик плашмя грохнулся на асфальт. И из-под виска у него кровь потекла. А если стукнуться о землю виском, знаете, это верная смерть. У какого Серафимушки я отмолю этот грех? Себя отмою?

Я проспался, наутро отхлестал себя перед зеркалом по щекам, щеки горели огнем, я сказал себе: Мицкевич, все, ты пить не будешь, больше в рот не возьмешь.

И не беру. Только по большим праздникам рюмочку пропускаю.

Вот, например, в Пасху. Очень люблю так: кусок кулича, яичко крашеное, уже облупленное, ложка пасхи с изюмом и рюмочка кагора напротив. Натюрморт. Я однажды его так и написал. Особенно хорошо у меня получилось голое яйцо.

Нет, красное вино тоже выглядело как живое. Кровь Господа моего.

Я работал на всяких-разных работах. Моя семья никогда без еды не оставалась. Понимаю, работенки эти все были неважные; но делать мне было нечего, я быстро хватал все, что плохо лежит. Любой труд в почете, твоя душа должна быть к нему расположена, и мытье полов надо видеть как праздник, и свай забивать, будто бы танцевать с ними в царском дворце. Так я себя уговаривал, и у меня получалось. Получалось не плакать о своей простой жизни на дне огромного земляного казана, где нас, людей, варили, как рис, запекали, как свинину или утку. И меня варят! И тебя варят! Вопрос лишь в том, из кого блюдо вкуснее выйдет.

Устроился я проводником, ездил в вагонах скорых поездов, но и в пассажирских тоже работал. Мотался по великой стране. Да, велика наша великая страна, землю всеми дорогами не охватишь! Как подумаешь о тайге Сибири, об Урал-Камне, о Приморье, оторопь обнимет. А на запад если поехать? Украина, Белоруссия, Молдавия? Это теперь все они — чужие страны. А тогда это была вся наша огромная родная Советская страна, и я, садясь в поезд, обустроиваясь в своем купе для проводника, с замиранием сердца, гордо думал: вот поедем, и куда на сей раз поедем? На юг, постучим колесами на юг, а юг велик! В прошлом месяце ездили в Астрахань, а теперь тарахтим в Адлер, через Краснодар. Ух, фрукты родимые! Двое суток трястись обратно, ну так я теперь ученый, после Тамани, я спелых не наберу, только зеленых: незрелых яблок, твердых, как кирпичи, персиков да даже вино-

град доведу, есть такой особый сорт «кардинал», ягоды крупные, что твои яблоки, и если аккуратно положить его в железную сетку, ну, даже в садок для рыбы, то у сиротки-винограда есть шанс до Горького дожить.

Я представлял радость детей, и сердце мое расширялось от восторга и пело!

Обязанности проводника только с виду простые. Проводник без дела не сидит ни минуты. Уборка. Чистка туалета, язви его в корень. Подмести полы, а то и вымыть. Вытрясти ковры. Раскатать их по вагону. Кому чай, кому кофе. Кому с печеньем. Вам просто кипяточка? Титан горячий! Разбавляйте на здоровье ваш сухой суп! Все кипит у меня в руках. Я старательный, я все умею. Ну если не все, то много чего. Бегаю, конь! Хвост за спиной мотается! Услужить всем готов! На меня косятся: ах, какой у нас проводник хороший, такой заботливый! Лучше отца родного!

Кое-кто мне пытался в ладонь мятые рубли, трешки совать. Это, значит, в благодарность. Но я не брал. Я так считаю: в дороге человеку деньги всегда нужны. А мы, проводники, на казенном харче. И на казенном белье спим. Нам карты в руки.

Да, карты. Ну какая дальняя дорога без карт. В карты в вагоне играли все — и стар и млад. Детишки сидели, картишки мусолили: «Это дама? Это мама! А это король! У него главная роль!» Я не ругался, карты ни у кого не отнимал. Пусть люди веселятся. И так тоска.

Засаленные карты, холодная куриная нога торчит из банки. Соленые помидоры разложены на обрывке газеты. Сваренные вкрутую яйца очищены, и искрошенную скорлупу выбрасывают в открытое окно, в жаркий ветер, и ребенок вопит восторженно: «Птичкам!»

Меня проводники почему-то взяли да обозвали — Андрюха-два-уха, я заходил в туалет, ну якобы его почистить, и на себя в заляпанное мылом зеркало долго смотрел, дергал себя за уши, корчил обезьяньи рожи. Нет, уши вроде не торчали. А чего тогда насмеваются?

Там, в этом поезде, я и встретил ту проводницу.

Встретил, да забыть ее не могу.

Занозой в сердце вошла, да ту занозу я так и не вынул.

Я увидел ее, когда она с начальницей поезда быстро шла по вагонам. Куда? Ну откуда мне знать? Сперва в один конец поезда прошли. Я думал, не вернуться. Нет, обратно идут. Я в купе свое юркнул и дверь приоткрыл, чтобы эту девушку еще раз увидеть. Серая юбочка проводницы, короткая, по середину бедер, ноги худенькие, ровные, как березовые бревнышки. Пиджак форменный плотно сидит. Сама худая, а грудь высокая. Тонкий пирсинг блестит в углу рта. Шея тонкая, волосы черные, густые, копной на спину спускаются и красной заколкой заколоты. Видите, я даже помню, какого цвета у нее заколка была!

Цокает каблуками мимо моего купе. Я захотел увидеть ее лицо, и чтобы подольше посмотреть, рассмотреть. Что сделать? Надо было думать быстро. Вернее, совсем не думать. Отключить ум. Я и отключил. В одно мгновение сдернул с себя рубашку, высунул из купе, наклонился и заблажил: «Ой-ой! Ай-яй-яй! Черт меня возьми совсем! Ведь у меня же, наверно, аппендицит! Ой-ёй-ёй как больно! А-а-а!»

Начальница и проводница встали как вкопанные. Начальница побелела. Проводница, наоборот, вспыхнула. Сжала губы. Скулы ее горят, черные огромные глаза сверкают. Она, когда волновалась, вся, как алмаз, сверкала. Это я потом наблюдал. «Вы извините, — оборачивается к начальнице, — я товарища сейчас посмотрю!» И быстро вошла в купе. И закрыла дверь.

Ну все, как я мечтал.

«Ложитесь на полку, — сердито говорит, — спустите джинсы!» Я джинсы расстегнул. Обнажил живот. Она наклонилась. Руки мне на живот положила. И вот, верите ли, нет, да можете не верить, мне безразлично, какая разница, только когда она ладошки на живот положила и стала живот нежно так, осторожно шупать, я взял да и кончил! Весь сотрясся, как в лихорадке, как под током! Будто голым проводом она меня коснулась, не руками! А она еще более сердито, просто гневно говорит мне: «Что вы врете! Какой аппендицит! У вас аппендицит уже давно был! Вы прооперированы, у вас шов, вот!» И опять руку мне кладет на живот, и шов гладит. А сама, вижу, мое состояние заметила. И я почувствовал, что ее ко мне тянет. И, не думая уж вовсе ничего, я схватил ее, руки у нее на спине сомкнул — и на себя повалил! Она лежит на мне животом, тихо смеется. «А мы, — говорит, — купе-то не замкнули, а там, за дверью, ведь начальница стоит, ждет, когда я выйду!»

Я целовал ее, и под моими губами плыли ее губы, и обжигал мой рот лютым холодом ее ледяной потешный пирсинг.

Она высвободилась, встала. Я отвернулся к стене, меня всего трясло. Она осторожно открыла дверь, выглянула в коридор. Никого. Обернулась ко мне. Я никогда не видел на лицах у людей такой радости. Веселье просто брызгало у нее из глаз, из волос! Вокруг нее летали искры! Она повернула вагонную защелку, и мы оба стали судорожно сдирать с себя тряпки. Чуть в ключья одежду не порвали. Это было опасно, раздеваться в поезде догола. Может, начальница обо всем догадалась и вышла покурить в тамбур! А сейчас вернется, заколошматит в дверь! И нам, голым, такое покажет!

А что нам можно было показать? Что с нами можно еще было сделать, кроме того, что с нами стряслось?

Я никогда так сильно и радостно не желал женщину. И у нее, чувствую, тоже такого, как сейчас, еще не было. Трудно мне об этом говорить. Знаете, душа ведь не помнит ничего телесного. Душа помнит только свою радость. А это тогда была такая чистая, чистейшая радость, что я задыхался от радости и всерьез боялся, как бы мне от нее совсем не задохнуться. Удушье счастья! Такое тоже бывает. Да все на земле бывает. Дельфины свистят про любовь на своем языке и в смертельной тоске прижимаются к ногам голой богини, выходящей ночью из моря. Мужчина задыхается от радости, обнимая свою женщину, и он уже Бог, и она уже божество, и они оба поднимаются над своим ложем, неважно, что это и где это, кровать это, диван со старыми вылезшими пружинами, морской песок, выжженная земля пустыни, узкая вагонная жесткая полка. Они тихо и медленно поднимаются над ложем, над миром, они парят, летят, любовь — это полет, любовь — это невесомость, пусть поезд стучит и грохочет, пусть трясется утлая, нищая железная повозка. Они поднялись, они парят. Им наплевать, что о них скажут и что подумают. Они сейчас не говорят и не думают. Они — объятие. И больше ничего. Объятие и радость. Объятие и воля.

Объятие и слезы.

Я там, в поезде, ночью, под грохот колес, однажды сказал ей: «Знаешь, я тебя узнаю везде, и даже на Суде». Она хрюкнула смешливо: «Это на каком таком суде? Я что, сопру у тебя из чемодана какую-то дорогую хреновину, и ты что, на меня в суд подашь?» Долго и беззвучно смеялась. Голая, завернулась в простыню. Сквозь мокрую простыню просвечивали ее худые позвонки. Я отвел прядь черных ночных волос с ее загорелого лба и тихо сказал: «Дурашка, на на людском суде, а на

Божьем Суде. На Страшном». Она прыснула еще пуще. Закрывала рот ладонью и вся тряслась в хохоте. На ее глазах от смеха выступили слезы. Отсмеявшись, спросила: «На страшном суде? Это с пытками, что ли? С побоями? И каленым железом будут прижигать, да?! Во страх так страх! Не выдержи, точно!» И опять в смех.

Я смеялся вместе с ней. Старался тихо смеяться, чтобы из соседнего купе нам в стенку не застучали, что мешаем спать. Я просто побоялся сказать ей, что мы можем вообще никогда больше не встретиться. Но она так счастливо смеялась! Так она была тогда счастлива! Да и я тоже. И я не смог.

На полустанках, ближе к югу, я покупал моей девушке спелые сливы и черный виноград и нес эту покупку в кульке в вагон; пока нес, кулек промокал, бумага разваливалась, и я брал ягоды в пригоршню. Бежал, выставив пригоршню с ягодами перед собой, чтобы не запачкать китель проводника, к вагону, где ехала она. «Где проводница?» — «А на перрон вышла». — «Так мы же скоро отправляемся! Поезд десять минут стоит!» — «Ну, значит, товарищ, наша хлопотунья здесь останется. А что, хорошо, юг — благодатное место!»

И вот я видел: она навстречу мне бежит, и руки у нее сложены в пригоршню, и у нее в руках — размокший кулек с сырым от теплого промчавшегося ливня виноградом. И она бежит ко мне с этим виноградом, и я с виноградом бегу к ней. А тепловоз уже дудит, уже гудок несется вдоль по платформе, вагоны начинают медленно утекать, убегать от нас, и я, смеясь, подсаживаю ее на ступеньку: лезь, ягодница! — и карабкаюсь вслед за ней, а поезд набирает ход, и мы стоим на ступеньках вагона, хотя давно уже должны были их сложить, стоим с мокрым виноградом в ладонях, и я протягиваю виноград ей, и она белыми, светлыми зубами, улыбаясь, откусывает грязный, немыйтый виноград прямо от ветки, от лозы.

А потом она протягивает свой виноград мне.

Я потом, много лет спустя, вычитал в одной священной толстой книге: хлеб и виноград — вечный ужин влюбленных. Да, да, это мы были! Это с ярким смехом на губах, с виноградом, и дорога несется мимо, все мимо и мимо, мимо несутся время и земля, там, в канувших во тьму веках, были — мы!

Да ведь нам нельзя было слишком уж обнародовать свое чувство перед начальницей поезда. И перед другими проводниками. Все, конечно, обо всем догадывались, но молчали. Думали: а, ерунда, придет состав на станцию Горький-Московский, зарплату проводники получают, в ведомости распишутся, и вся любовь.

А мы? Что мы? Мы были просто мы, и мы, как все на свете, жили одним днем. У нас было только сегодня, никакого завтра у нас не было. Но ведь у любого человека нет вчера — его вчера умерло, и завтра нет — его завтра еще не пришло. Есть только здесь и сейчас.

Здесь и сейчас!

Вот завет. Его не вытравишь, не сотрешь, не соскоблишь эти письма ни с камня, ни с железа, ни с пергамента, ни с бедной бумаги. Здесь и сейчас, ты живешь здесь и сейчас, и больше ничего нет и не будет.

Она стучала мне в дверь купе условным стуком: два раза быстро и подряд, тук-тук, и потом еще раз, отдельно: тук. Я открывал дверь, впускал ее, она обхватывала меня худыми, как палочки, быстрыми руками, я обнимал ее худенькое подвижное, ртутное тельце, она была худенькая, моя девочка, только с роскошной, жадной до любви, до мужских губ грудью. Я видел, как она хотела нежности, как стосковалась

по нежности. На столе, в одноразовой пластиковой тарелке, уже лежали вымытые груши и персики. Пылающее солнце било жадными огненными лучами в пыльное окно. Я задерживал вагонную рваную штору.

И мы были вместе.

Вместе — это ближе, чем рядом.

Когда мужчина становится женщиной и мужчиной...

Когда я ее обнимал, я становился ею. И оставался собой. Это очень трудно объяснить.

Она спросила меня, один ли я живу. Или с семьей. «С семьей, — я старался весело улыбаться, — у меня жена и двое детишек». Ага, равнодушно кивнула она. И стала смотреть в окно. За окном проносились дома, рельсы, тучи, крыши, солнце, леса, огороды, дымы. Оголтело неслась мимо нас наша страна, и вместе с ней бежали мы. Нет. Рядом, но не вместе. Она сама по себе, мы сами по себе. Она наша надзирательница, мы ее заключенные. Она нас пасет, а мы ее коровы и быки. Кнут взмывает над потными скотскими спинами! И бьет! Паситесь, народы! Вот ваш кнут, а вот ваш пряник. Нам в нашей юности много чего запрещали. И чем больше запрещали, тем сильнее давил наш горячий воздух на крышку железного жуткого автоклава: изнутри.

Дави, дави, социум! Сейчас взорвется котел, и стальная крышка отлетит в сторону! Я давно уже из тебя вышел. Удалился от тебя.

Сейчас я человек вне общества. Я как хочу, так и живу. Пусть это моя иллюзия. Но я свободен.

Я свободен... словно рыбка на крючке... я свободен... словно вошь на гребешке...

Кто это поет? Кто это пел?

А может, это пел я сам?

...Я порылся в кармане штанов, добыл пачку сигарет и спички, чуть опустил вагонное стекло, в щелку втекал воздух дальних земель, я закурил, затягиваясь глубоко и печально, и стал беречь пламя между сложенных ладоней.

...Она смотрела в окно. Ее форменная пилотка лежала на столе, рядом с огрызками яблок и персиковыми косточками. Губы ее едва видно дрожали. Я поднимал руку. Пальцы мои превращались в губы. Я целовал ее рот пальцами. Целовал ее глаза глазами. Я открывал ей великую, святую тайну: можно говорить молча, можно обнимать незримо, можно целоваться не ртами, а сердцами. Вне грубых прикосновений, вне слепых и жадных ощупываний любовь еще сильнее. Необязательно в любви должны тела приклеиваться друг другу. Души не ковыряются в других телах. Не нанизывают мясо на горячий вертел. Не высасывают из плоти вкусные соки. Трехмерный мир только кажется сладким. Он не сладок, он страшен. Это мы ему прощаем; он нам не прощает.

Он не прощает ничего. Ни правды, ни лжи. Ни горя, ни радости.

Правда и ложь — две стороны одной медали. Это мирская медаль. Все, кому не лень, ее себе на грудь цепляют.

Одна истина надо всеми. Надо всем. Над правдой и враньем. Над гордыней и стыдом. Над дьяволом и Богом. Да, над Богом тоже, ибо и Он идет, бредет к истине.

Души, обнявшиеся воистину, не умирают.

Гудели поезда. Они плакали и рыдали.

Я вез краснодарские зеленые груши в большом, как кладовка, чемодане.

Я смотрел на часы на запястье и считал станции. Она смотрела тоже — не на свои часы, у нее их не было: на мои. Мы оба считали станции, что оставались до Московского вокзала. Мы ждали, надеялись: а вдруг время остановится! Не остановилось.

Поезд подошел к перрону. Ее не было рядом. Ее не было вместе со мной.

За полчаса до вокзала она поцеловала меня в последний раз и ушла к себе в седьмой вагон. Седьмой? Да, кажется, седьмой. Нет, вру. В шестой.

Я вышел в жару, в толпу и гарь, в пыль и крики, и я улыбнулся и послал Господу моему эту улыбку. Чемодан оттягивал мне руку. Надо мной просто пролетел черный, худой, смешливый ангел. И я его узнал, я сказал ему своим телом и своей душой: жить мы с тобой будем долго и счастливо, и умрем в один день, и в один день воскреснем. Только мы с тобой никогда об этом не узнаем. И мы с тобой никогда, никогда не будем. Ни вместе, ни рядом.

А дети росли. Жизнь расширяла, раздвигала их изнутри. Вытягивала вверх.

Софочка становилась настоящей красоточкой. Ее, такую красотульку, изнасиловал одноклассник в подъезде. Она понесла. Пришла ко мне: папа, я сделаю аборт! Я положил ладонь ей на губы. Придвинул лоб к ее лбу. И тихо, очень тихо, так, что сам себя не слышал, ей сказал: «Не смей. Это убийство. Не бери грех на душу. В тебе живет человек. Его нельзя убить. Его можно только родить. Потом мне сама спасибо скажешь». Софка шупала мне лицо большими, как блюдца, глазами. Блюдца поплыли, замерцали, вспыхнули, вытекли и стекли по щекам. Она долго сидела перед мной с закрытыми глазами, из-под век текли слезы ручьем.

Аборта никакого не случилось. Родился Илюшенька, мой первый внук.

А Юрочка испортился. Попортился, как тот таманский абрикос. Подгнил изнутри. Из дома стали исчезать вещи. Исчез телевизор. Исчезла кофемолка. Пропал музыкальный центр — я украл бревна и доски в сломанном доме, изготовил два красивых стола и четыре стула, тайком продал их и на те запретные деньги модную технику купил. Из шкафа стали пропадать костюмы. Исчезли модные Верочкины джинсы. Потом из-под подушки у Веры исчезли деньги — пенсия ее пьяницы отца. Вера у папани пенсию украла, а у Веры ее тоже украли. Кто? Софочка плакала и отпиралась. В кровати заходился в плаче Илюшка. Юра стоял перед мной, и я, Будда, видел все насквозь. Я был его рентген, и его врач, и я пристально разглядывал все на черно-белом негативе — и гниль, и болезнь, и переломы, и опухоли. Когда он успел так сильно захворать? А кто следил за его здоровьем? Кто мыл и чистил его душу?

Я не делал этого. Вина на мне. Кровь и боль сына моего на мне.

О жене уж молчу. Несчастливая она. Жалел я ее. Всегда. И буду жалеть. До смертного часа.

Хотя, знаете, жалость — плохое чувство.

Жалость — это ты прибегаешь не к силе, а к слабости. Жалость — это колени твои трясутся, а глаза наполняются солью. Лама Итигэлов сидит, усыпанный солью, но она не тает; а если соль растает и льется водой, нет в ней уже мощи, силы, звездного кристального света. Соль земли! Она не должна таять. Художник силен, он — огонь, он не плачет. Огонь горит, он — сила. Огонь никого не жалеет. Но без него нам не прожить.

Юрка, в компании пьяных парней, снял с прохожего мужика часы, они все ограбили беднягу, а потом крепко избили, а потом, убоясь правосудия, убили.

Всю команду отыскивали. К нам домой тоже пришли из милиции.

Юрку повязали, и взяли, и затолкали в милицейскую, с красной полосой, синюю машину. Повезли. Увезли.

Я не пошел на суд. Я не мог. Я не мог увидеть моего сына за решеткой в зале суда.

И Верочка не пошла: она напилась в дымину.

Пошла Софочка. Взяла за руку Илюшку и повела смотреть, как Юру судят.

Ему присудили четыре года колонии строгого режима.

И я понял: все, он из колонии вернется уже таким, что ему опять туда захочется.

Он уже без неволи не сможет.

И верно; одна ходка была у Юрки, другая, третья, а сейчас уже и четвертая. Отец, я хочу вернуться к хорошей жизни, кричал он мне, когда освободился после третьего заключения и напился в стельку, хочу, хочу! Мало хотеть, надо действовать, ответил я ему.

Но он, бедный мой мальчик, лишь мечтал о праведной жизни. Ему была суждена жизнь подлая, темная, пошлая, пьяная. Страшная.

И мой самый великий страх был теперь, на всю жизнь, что я сам такого сына на свет родил.

Софочка растила Илюшеньку одна. Мы все ей помогали. Ну как помогала вечно пьяная мамаша? С внуком сидела. С собой спать укладывала; однажды чуть не за-спала, навалилась на него грудью, Софка домой прибежала, а младенец весь синий и хрипит под боком у бабушки, еле успела из-под Веры мальчонку вытащить, слава богу, отдышался. Я с Илюшенькой гулял, возил его в колясочке. Соседи думали, это наш с Верой третий, поздний ребенок. Сын вышел из колонии, опять стал из дома вещи тащить, деньги-то нужны. Я измолотил его в кровь, не выдержал. Он заперся в туалете. Я ломился в дверь: Юра, открой! Юра, открой! Юра! Дверь выбил плечом. Юрка уже петлю из рваных полотенец сладил и на крючок накидывает. Я крючок из стены выдрал, петлю в карман сунул, ору: мать хоть пожалей! Он сидит на краю унитаза, голову низко опустил. Качается, как маятник, и мычит, стонет. Я стою над ним, чуть не плачу, себя в жестокости виню. Прости меня, говорю, сын! Но сколько можно терпеть! Он мне мычит: ты иди, батя, я сейчас спать лягу. Видишь, у меня петли нет, ты ее отобрал. На всякий случай я спрятал на кухне все ножи. И бритвенные лезвия в стиральную машину бросил. Сам пошел, лег к Вере под бочок. Она зычно храпела, и из нее наружу весело вылетали хрипы и призраки табака и водки. Слышу, отворяется балконная дверь. Вся комната тут же выстыла. Зима по квартире гуляет. А Юрки в комнате нет. На балконе! Все-таки прыгнет! Не хочет он жить!

Я ринулся на балкон. И точно: стоит у перил, ногу занес, перелезть и вниз прыгнуть. И тут во мне вроде как все онемело. Стало мятным, леденцовым, ледяным. Я попятился. Говорю: хорошо, бросайся. Убивайся! Мать с ума сойдет. Ей до полумия недалеко. Да ведь вдруг не убьешься? Искалечишься? Мы все дружно, по очереди, мать, Софка и я, будем тебя в инвалидном кресле возить. Судно под тебя подтыкать. С ложки кормить. Тебе такая жизнь нужна? Ты о ней всю жизнь мечтал? Валяй! Но это только твой выбор. Ты и отвечай.

И я шагнул назад и плотно закрыл за собой балконную дверь.

И пошел, представьте, и лег спать, и как-то сразу, мгновенно уснул.

И что? А ничего. Не стал Юрочка прыгать с балкона. А продрог на ветру до костей, тихо в комнату выполз и улегся прямо на полу. Рученьки под голову подложил и так уснул. Без подушки, без простыни. Как на нарах. А может, там они, в колонии, и на половицах спали. Разве в лагерную жизнь мы, мирские, заглянем?

Человеку если свободу дать, он всегда выбор сделает.

Не надо никого останавливать. Никому руки связывать не надо.

Человек сам за все свое в ответе; и это только его жизнь, и только его судьба. Ничья больше.

Дочь вышла замуж. Муж зародил ей второго ребенка. Она родила девочку. Красивая моя, нежная, безропотная Софка. Муж, каменщик на стройке, вскоре начал пить и хулиганить. Бил посуду, швырял в Софку банные тазы. Жизнь повторялась, это было еще одно мое зеркало, из тех, что я увидел в купели Серафимушки. Я часто вынимал из кармана камень Серафима и спрашивал его: камень, камень, скажи, будут счастливы мои дети или нет? Камень больше не грел мне руку. Молчал холодный камень. Значит, я верил мало и плохо. Малoverный я был тогда.

И вот однажды ночью мне раздался стук. Постучали громко и страшно. Три раза. Стук! Стук! Стук! Я аж привскочил на кровати. Почудилось! Нет. Я не спал. Я слушал Верочкин храп. Меня охватил ужас. Я не испытывал раньше такого ужаса. Я его раньше вообще не испытывал. Я мало чего боялся. И все больше я становился философом. А тут вдруг такой троекратный грохот.

Пусти! Пусти! Пусти!

А может: помни! Помни! Помни!

О смерти я помнил всегда. Когда я медитировал, садился, скрестив ноги и раздвинув колени, перед открытой настежь, в небо и солнце, балконной дверью, она, тихая и мирная, сама приходила ко мне. И я приветствовал ее: входи, смерть! Я помню о тебе, и я люблю тебя.

А тут такой стук, как приглашение на казнь. Пришел палач и приказывает: иди за мной! И ты встаешь и идешь, делать тебе нечего, это твои последние минуты на земле.

И я с кровати встал. И подошел к окну.

Я ничего не увидел в окне. Ничего. Тьма и пустота.

Сквозь серую тьму смутно просвечивали руины.

Далеко, у горизонта, тоскливо, как собака, у которой утопили щенков, выл ветер.

Я отшатнулся. Хотел задернуть штору и не смог. Я понял: я увидел будущую землю. Землю, убитую, съеденную и выпитую жадным глупым человеком.

Землю, сироту и нищенку, и нет на ней больше людей.

А кто есть? Что есть? Дым?

За моей спиной затрещали половицы. Кто-то по половицам шел ко мне. И я слышал его приближение. И дыхание слышал.

Я знал: это смерть. И я сейчас, вот прямо сейчас должен умереть. Тогда я поспешил приготовиться. Я вернулся к кровати. Лег поверх одеяла. Сложил руки на груди. Закрыв глаза. И стал молиться. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного. Господи... Господи Будда, помилуй мя... Господи Кришна... Господи Иегова... Господь Аллах всемогущий... Господи... и Ты, матушка Богородица... А ты, смерть, может, ты матушкой Богородицей прикинулась, чтобы мне легче было границу перейти?

Напрасны были все молитвы. Я, просто я сам был сам себе живой и последней молитвой. Мое тело. Мое сердце, оно еще билось. Я постарался отключить ум. Оставить только чувство. И запоминать, помнить все, что со мной будет сейчас происходить.

И, знаете, я все запомнил. Здесь ли говорить об этом? Поймете ли вы? Может быть, вы, как все, будете надо мной обидно смеяться? Ну все-таки хоть чуть-чуть расскажу. Сначала меня обхватила тьма. Она держала меня крепко, и я превратился в волка, меня изловили охотники, связали мне лапы и сунули в пасть палку, чтобы я не прокусил охотнику руку зубами, не вцепился в ладонь или запястье. Я по-

просил тьму: выпусти меня из себя вон, я тебе лишний груз, я родился в тебя, тьма, для того, чтобы пройти тебя насквозь и выйти к свету. Не держи меня! Отпусти!

Тело стало легче птичьего пуха, и я оттолкнулся от кровати и полетел. Я летел ногами вперед, и у меня резко и сильно заболело в центре меня, там, где сердце. Боль достигла невыносимых вершин и оборвалась. Я подумал: вот и все, — и тут же радость обняла: если думаю, значит, еще не все! Я летел в пустоте уже один, без боли. И тогда под закрытыми глазами начал разгораться свет. Свет горел под сомкнутыми веками, горел под сложенными на груди руками, я накрыл свет ладонями, а он под ладонями бился и вспыхивал, горел все сильнее, мощнее. Я уже не мог его укрыть, удержать. Свет вырвался из-под моих рук, взорвался, и его белые, могучие, толстые и тонкие лучи свободно, вольно полетели в разные стороны. Яркое ядро света наливалось мощью, голова моя стала сгустком света, грудь моя испускала лучи, руки мои светились, из-под горящих ребер лился свет сердца, оно билось в отчаянии и в радости. Я отчаивался: неужели я сюда никогда не вернусь?! — и радовался: теперь я навсегда Свет! Я лежал в круге Света, а может, стоял, а может, летел. Свет, я вернулся к тебе, шептал я ему, Свет, я вернулся.

И как только я это ему шепнул, я умер.

Все исчезло. Исчез Свет. Исчез я.

Теперь я знаю: при Переходе в мир иной есть такое место, ну, как темный сундук с наглухо закрытой крышкой. Крышку захлопывают крепко. И поворачивают ключ в замке. И душа лежит там, а человек лежит рядом с сундуком, уже отдельно от души. Сейчас распахнут крышку и душу выпустят: или на мытарства и мучения, и их надо пройти, или в блаженства и в новую жизнь. Вы знаете, энергия не возникает ниоткуда и не проваливается в никуда.

Утром я открыл глаза. Я снова был в этом мире.

Я умер и возродился. Мне было, как и моему покойному отцу, тридцать лет.

Я умер ровно в тридцать лет, сообразил я, сегодня же мой день рождения. И за окнами весна, конец марта. Птички поют, лужи блестят. Но тот, кто пережил смерть, смотрит на все по-иному. Птички, лужи, жены, дети, еда, питье? Разве это мое? Да, и это мое, пока я жив. Меня возродили не зря. Не напрасно. А для чего-то. Зачем-то. Зачем, это мне предстояло узнать.

Веры рядом не было. Она ушла работать. Она время от времени устраивалась работать на разные работы. Тогда она работала в киоске, продавала фрукты. Немного воровала. Приносила внукам подгнившие яблоки и помятые дыни. И зеленые мандарины, и ядреные лимоны. Она то и дело чистила себе мандарин, облупляла его, как яйцо. Кляла рядом с початой бутылкой водки и любовалась. В нашем доме всегда пахло елкой, выпивкой и Новым годом. А к Верочке ходили пьяненькие тетеньки из соседних киосков, я видел, как они выпивали, закусывали мандаринами, килькой, селедкой и целовались.

Я сел в позу лотоса, сложил руки на груди и выключил сознание. Я попросил Бога всех миров, чтобы он мне подсказал путь. И я услышал голос над собой или внутри себя, я не разобрал: брось всё и всех, уйди отсюда, уходи, спасай себя, спаси. Себя, переспросил я молча Голос, правда себя? А разве не их? «Спасая себя, ты их спасешь», — размеренно били внутри меня в медный гонг, и гул плыл, расходился круглыми волнами по горькому воздуху пьяной жизни.

Я собрал чемодан. «Верочка, я ухожу», — сказал я Верочке. Она вытаращилась на меня; так поводит круглыми выпученными глазами рак, когда его вытащат из-под камней на берег. «Куда?! Куда ты уходишь, дурак?!» Я пожал плечами и улыб-

нулся. Увидел свою улыбку в зеркале. «Я ухожу в никуда». Верочка так и вскинулась. «В никуда?! Ах, он уходит в никуда! Придурок! Тронутый! Не живется ему! Нейдется ему! Да тут же прибежишь! Нечего будет жрать, негде спать, и явишься как миленький! И еще прощения попросишь!» Я стоял и улыбался, и зеркало отражало меня, рослого, широкоплечего дядьку с уже седым конским хвостом, с ясными, как у младенца, глазами, руки уже в венозных узлах, лоб уже в письменах морщин, все уже цапнуто когтем времени, не спрячешься от него. Когтем смерти цапнуто. Сегодня я сразился с ней.

«Я не приду. Нет, когда-нибудь, конечно, приду. В гости». Верочкины глаза остановились. И вся она застыла, как сосулька, и больше не шевелилась. Я ушел, а моя жена сидела неподвижно, как статуя Белой Тары.

У Будды, знаете, есть женские воплощения. Белая Тара, Зеленая Тара, Синяя Тара. Они улыбаются точно так же, как Будда.

Христос в таинственном Евангелии от Фомы сказал однажды хорошие слова. Я их точно не вспомню. Мне это Евангелие, переписанное от руки ребенком, принес краснодеревщик Петя. Почерк детский. А может, старческий. Небрить, с синим носом, Петя жалобно проблеял: «Может, ты разберешь? Может, это гениальные стихи? Дай на чекушку! Или хотя бы на мерзавчик!» Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина был женщиной и женщиной, а женщина стала мужчиной и женщиной, когда вы сделаете глаза вместо глаз, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, и образ вместо образа, тогда вы войдете в Царствие Небесное.

Верочка не могла стать и мной, и собой. Она сидела не шелохнувшись, а я хлопнул дверью.

Она так и не вошла в Царствие Небесное.

И я был в этом виноват.

Я шел по городу с чемоданчиком, надо мной собрались тучи, и из них посыпал мелкий твердый снег, белая крупа усыпала мне шапку и воротник, лужи затянулись соленым ледком, я чувствовал себя мертвым ламой Итигэловым, и его посыпали божественной крупной, светлой солью, чтобы сохранить навек, уберечь от гниения и тьмы, я шел по главной улице города, по Большой Покровке, и впереди вдруг услышал звон и пение, это звонили в колокольчики веселые кришнаиты, они приплясывали, кто во что одет — кто в шубах и бараньих папах, кто в розовых шелковых хламидах, розовый шелк развевался на холодном ветру, бусы из поддельного жемчуга прыгали на жилистых мужских шеях, бритые башки светились в полумраке, смеркалось, зажигались на Покровке фонари, и ярче становились хламиды цвета зари, и женщины качались из стороны в сторону и радостно пели: «Харе, харе, Кришна, Кришна! Рама, Рама, харе, харе!» Хая Кришны, подумал я весело — и тоже как-то незаметно влился в их строй, заплясал вместе с ними, мне в одну руку втиснули трещотку, в другую вложили петлю из рыболовной лески, на леске, как золотые рыбки, болтались колокольчики, я встряхнул музыкальным куканом, и все колокольчики зазвенели так пронзительно и безумно, что хор грянул громче, а лысый кришнаит в розовом хитоне заплясал и вовсе уж бешено, выбрасывал ноги, поднимал над головой руки, ходил ходуном, как на шарнирах, и голосил: «Харе, харе!» — и собирались вокруг нас, пляшущих, люди, и дивились на нас, как на диких зверей, и показывали пальцами: странные мы им всем были, дикие, чужие, тронутые, спятившие, — иные.

Иные люди не любят. Они боятся его и смеются над ним.

А холодный ветер все сильнее трепал кисточки волос на затылках, остужал бритые черепа, вайшнавы пели и плясали, бусы и колокольчики звенели, а потом наверху, в тучах, зазвенели мощные, гулкие колокола, обняли землю протяжным долгим пением, посмертный, лютый гул сотрясал под нашими ногами землю, и плясал босой лысый друг Кришны на замерзших грязных лужах, на грязном снегу, и лежала снежная крупка у него на плечах, на царском атласе, и крепко взялись мы все за руки, за горячие, еще живые руки, и водили хоровод вокруг веселой смерти, вокруг нашего Бога, у которого было так много имен, все не упомнишь.

И люди бросали нам в сиротливую миску на снегу бумажки и монеты. На них можно было есть и пить, дышать, жить. Недолго, но все-таки можно.

Я зашел к знакомому художнику. Он выпивал с друзьями. Я посидел, посмотрел, как они пьют. Это мне было неинтересно. Я отозвал художника в сторону и тихо сказал, кивая на чемоданчик: приюти, если сможешь. Он постелил мне на полу физкультурный грязный мат, кинул на него подушку и пьяно хохотал: принц на горошине! Давай вместо горошины — луковицу подложу!

Под водку был съеден весь репчатый лук. Утром художники уползли, как побрызганные отравой гусеницы. Друг всунул мне в руку холодный ключ. «Держи, это от мастерской. Одно моего кореша каморка. Друган мой один в лагерь загремел. А там у него туберкулез открылся. Так он в той лагерной больничке и помер. Богу душу отдал, чувствуешь? А ключ-то у меня. Там, должно быть, уже сто мышей завелось! Тараканы царствуют, сидят по стенам! И все грибок до потолка заросло. Подвал, в бога-душу! Ты там, слышишь, порядок наведи, да?»

И я, с чемоданчиком, явился в тот подвал того лагерного мертвеца.

Все мы, люди, живем рядом с мертвецами. В Мексике есть такой Праздник Мертвых. В этот день мексиканцы своих мертвых поминают, идут на кладбище, едят там и пьют, танцуют, вино льется рекой. Детишки грызут печеные черепа и шоколадные скелеты. А кто-то ничком лежит на могиле, прижимается к ней грудью, животом и плачет-заливается, потому что не может пережить то, что любимого, родного рядом больше нет. Но что было рядом? Тело? Тело сегодня живое, завтра мертвое. Сегодня родное, завтра чужое.

Спокойно относись к мертвой, косной материи. Не она есть истина.

Истина есть дух, и он реальнее материи.

Тот заключенный, тот старый зэк, ставший вором в законе, а может, так и оставшийся фраером, и воткнул ему скобу под ребро, под чахоточные его, кровавые легкие, стал моим благодетелем. С того света, рукой беспробудного пьяницы, он послал мне ключ от всей моей жизни. От той, что мне осталась.

Я откинул крышку чемодана, выволок и разложил свое добро. Огляделся. За мной возвышалась грязная печь. В углу были свалены темные, проржавевшие и позеленевшие, медные и латунные иконные оклады. На стене, покрытой узорчатыми разводами плесени, висела, приколотая кнопками, старая, мятая репродукция из журнала «Огонек» — «Троица» Рублева. А под Рублевым валялось что-то блестящее, будто стуски меда, шарики какие-то. Я наклонился и поднял с пола янтарные четки.

Стал их перебирать. Одну за другой, одну за другой янтарные бусины. Одна. Другая. Третья. Четвертая. Я перебирал бусины и повторял шепотом, каждая бусина — слово, каждая бусина — удар в ребра: Господи. Иисусе. Христе. Сыне. Божий. Помилуй. Мя. Грешного.

На слове «грешного» я посмотрел вверх — и увидел вверху, под самым потолком, старое радио. Потянулся, повернул ручку. Из старой, разбитой, с трещиной, коробки донеслось: «...американские самолеты бомбят самое сердце Европы...»

Мне не было страшно тогда. Я уже тогда понимал: война не уходит и не приходит, война идет всегда, и эти бомбы, эти взрывы только одно из множества ее диких лиц. У нее много синих, красных, зубастых рож, у нее много когтистых лап, она пляшет на всех материках, возле всех морей. Сегодня она пляшет, скаля зубы, над Боснией и Герцеговиной, над Хорватией и Сербией, над Черногорией. Американские войска нахально вторглись в старую Европу, а мне-то что надо делать? Мне надо растопить печь. А то я тут ночью околею.

Я вышел в снежный двор. Меня обступили серые сараи. Я шарил глазами: где доски, хоть бы одна дощечка, хоть бы старое бревно. И я нашел. Один сарай был открыт. Дверь моталась, скрипела на ветру. Поднималась легкая метель, щекотала мне щеки, ноздри. Я чуть не чихнул. В сарае валялись гнилые доски и старые багеты. И здесь когда-то жил художник. Да, вот и его картины, вернее, то, что от них осталось. Они обгорели на пожаре. Картины я жечь не стал. Разве можно жечь душу? Чужую мертвую душу заметал снег. Он влетал внутрь сарая. Я взял две доски и поволок за собой. Я волок их в мой подвал, вниз, все вниз и вниз. Доволок до каморки. Пилы не было. Я ломал доски об колено. Я был сильный. Очень сильный.

Наломав досок для кормления огня, я сел перед печью на корточках: что же мне взять на розжиг?

Я порылся в карманах. Из кармана потрепанных джинсов я вытащил старый аусвайс. Открыл. Удостоверение проводника железнодорожного вагона третьего разряда.

Я согнул его, надломил и своими сильными руками порвал его на мелкие кусочки. Они загорелись в печном зеве, и я стал совать в печь доски, их обнимал огонь, и они трещали, говорили, бормотали, гневались, шептали, умоляли, хохотали. Доски жили, и я жил.

Я знал: я тут долго проживу.

Здравствуй, мой дом.

Подвал так и не прогрелся. Я сел в позу лотоса. Сидел в тулупе. Медитировал.

Потом я лег на длинную широкую скамью, похожую на тюремные нары.

Быть может, на таких же нарах спал в лагере мой сын.

Я уснул в тулупе. Поднял овечий воротник до ушей. Уши мерзли, нос мерз. Я улыбался холоду. Я улыбался несчастью.

Я улыбался тьме.

Обо мне слава пошла. Мол, живет в подвале такой слегка повернутый, больной на голову, но хороший добрый человек, и учит, как надо работать с душой и чистить душу. Ну, чистим же мы зубы по утрам, каждый день. А душу почему-то не чистим. Я чистил. И неведомо как этот слух, о том, что я чистильщик душ, разнесся по округе. Ко мне в подвал потянулись люди. Каждый со своими тараканами. Каждый чуть не в себе. Но ведь помилуйте, всякий из нас, кого ни возьми, немного не в себе. А кто в себе? Царь? Король? Президент? Премьер-министр? Вы думаете, они в себе? Они все тоже не в себе. Путь к себе тяжел и долог, и не все его проходят. Проходят его единицы. Во всем мире, может быть, пять-шесть истинных молельщиков; тех, кто воистину пришел к Истине. А все остальные только к Ней идут. Я тоже иду.

Ноги болят. Позвоночник ломается. Силы покидают. Но я иду. Важно — идти.

В этом страдальном, слепом, бессмысленном, длиною во всю жизнь, ходе к Истине — Истина сама и есть. Зрячая. Мудрая. Радостная.

Истина — это радость. Как Серафимушка говорил людям, что приходили к нему за благословением: «Радость моя!»

Я устроился на работу сторожем. Вахтером в кинотеатр «Спутник». Выяснилось, что у них и афиши некому рисовать. Я признался, что я художник. Этому обрадовались. Положили увеличенное жалованье. Так я и плакаты для кино быстренько малевал, и свои картины медленно красил.

А зарплату свою всю раздавал: Верочке, Софочке, внукам; Юрочке в колонию посылал.

Себе денежек немного оставлял. Чтобы не умереть с голоду.

Люди приходили смотреть на мои картины. Я то чашу нарисую, огромную, и в ней люди, звери, водоросли, деревья, стрекозы летают, птицы крыльями машут. Называется картина «Чаша жизни». То девушку, задумчивый профиль, глаза закрыты, а вместо волос у нее крона дерева. Называется картина «Безмолвная». То двух павлинов: муж-павлин склонил цветную голову к жене-павлинихе, клюв против клюва, что-то молча говорит ей, крылья они скромно сложили, и шикарных хвостов не видно: они за кадром, за квадратом холста. Не гляди прямо на красоту! Красота невидима, она — тайна. Ты не трогай ее ни глазами, ни руками. Ты помысли о ней и помолись ей.

Я часами глядел на призрачную девушку с волосами-листвой. Волосы вращались корнями в землю. А над теменем девушки плыли облака. Я вспоминал мою давнюю армянку, армию, и как скрипел под сапогами синий снег, и ту избу с бешеным огнем в старой печи. Где армянка? Может быть, умерла, и я нарисовал картину в ее память? А может, умерла моя проводница из седьмого, нет, шестого вагона скорого поезда? Если вы ушли, милые, Царствие вам Небесное. Если живы — пожалуйста, живите.

А потом умрете и родитесь вновь.

Люди робко стучали мне в дверь, я не спрашивал кто, я людей впускал к себе. Люди рассаживались, кто на стулья, кто на лавку, кто садился прямо на пол, стянув куртку и подложив под себя. Я зажигал лампу и свечу. Я любил свечу, любил живой свет. Свеча горела на столе в битом чайном блюде, давно не мытом. Свеча горела, я молчал. Люди молчали. Смотрели на картины. Нет, это мои картины смотрели на них.

В молчании шел разговор. О самом важном.

Потом начинал тихо говорить я. Я никогда не знаю, о чем буду говорить.

Душу не запряжешь. Душу кнутом не стегнешь, не погонишь вперед. Если душа захочет, она повернется и пойдет назад; но и назад она пойдет, как вперед.

Сердце — это чакра анахата. Это самая важная чакра. Сердцем говорили Христос, Будда и Кришна. Сердце трудится безостановочно, и этот тот труд, за который не платят. Ты сам платишь этим постоянным тихим биением за жизнь. Жизнь — радость, а ты ее сделал горем. Жизнь — чудо, а ты втоптал его в грязь. Что такое ты? Ты когда-нибудь задумывался о том, что такое ты сам?

Где кончаются твои жестокость и злоба и где начинаешься ты?

Где кончаешься ты и где начинается твое сердце?

Где кончается твое сердце и где начинается Бог?

А Бог, он имеет конец, или Он имеет только начало?

А может, ничто и никогда не начиналось? А все только длится, и все только снится?

Так я говорил, я, ничемный маленький человечек в подвале, где плесень по стенам, где гудит и трещит древняя печка, я, хлебная черствая крошка, я, бродяга, ушед-

ший ото всех, а вот все ко мне сами приходят. И люди слушали меня, и дивился я: за что мне такая честь?

А Россия гибла вокруг, мы все жили в пору гибели России, я понимал, что Россия гибнет, и не только я; на лицах всех людей было намалевано большими буквами: КИРДЫК РОССИИ, и никто с этим даже не спорил, и весь вопрос был в том, умрем мы вместе с ней или выживем. Я смиренно открывал чакру анахату навстречу любой судьбине. Доля у каждого своя, да, но есть еще и общая доля. Общая участь.

Люди, жалея меня, приносили мне разные разности: кто поест, в баночках, в целлофановых мешочках, кто малую денежку, кто даже тюбики масляной краски — не спи, художник, не дрыхни сладко, жги свечу, тарасься на ее пламя, пиши — вот участь твоя, от нее не убежишь. В печке дрова горят, и ты гори! Тебе так суждено. Подкладывай себя в мировой огонь. Если ты сгоришь целиком — из пепла вылетит красавец Феникс, допотопный павлин, взмахнет крыльями и взлетит из мрака в круг небесного Света.

Тогда я написал картину под названием «Матушка». Сначала нарисовал красивую женщину, ну, вроде как Богородицу. Вроде той, что я видел в Дивееве. На руки ей младенца положил. Младенец туго запеленутый, лежит, изогнутый, как червячок. Личико из пеленок торчит. Однажды ночью я проснулся, встал с лавки, скинул на пол тулуп, что служил мне вместо одеяла, взял мастихин и счистил младенца, слава богу, он был еще сырой, масло не успело засохнуть. И на месте, где извивался человечий червячок, я быстро нарисовал маленький яркий шар. Шар света. Круг света. Не человек — Свет! Именно Свет рождает женщина. Любая! Даже самая пошлая, замухрыстая, самая избитая, оболганная, изувеченная, несчастная. Даже моя вечно пьяная Верочка может такой Свет родить.

И написал я Матушке руки, поднятые вверх и обращенные ладонями к кругу Света; и написал я Матушке лик, что сиял, как круг Света; и написал я за Матушкой, в дальней дали вечной и чистой природы, горы как Свет, и леса как Свет, и спящего медведя как сгусток Света, и нежное небо как ковер Света. Сплошной Свет я за Матушкиной спиной написал, и доволен я остался своею работой.

И лег на лавку, дело уже к утру шло, между стекол моего подвала спали зимние муравьи в пирамидальном муравейнике, спали мыши по углам, спали янтарные четки на вбитом в стену медном гвозде, и я поднял с пола тулуп, укрылся им, руки мыть не стал, они пахли масляной краской, и я подносил их к спящему лицу и нюхал и счастливо смеялся. Мне снился красивый светлый сон про мою жизнь, про смерть, про Свет.

Среди людей, что приходили ко мне учиться медитировать, появился один веселый парень. Он так ярко улыбался! Солнечно! Все зубы показывал. Он внимательно слушал меня. Сел, точно как я, в позу лотоса. И гляделся в меня, как в зеркало. Но я почувствовал в нем что-то не то; он попробовал меня скопировать, у него не получилось, и он рассердился. После медитации люди подошли к столу, выложили свертки, из них вкусно пахло. Стали расходиться, и веселый парень хотел уйти, а я его остановил. «Останься! Хочу с тобой поговорить». Парень уже стоял на пороге, быстро обернулся, опять улыбнулся. «А ты, как на Востоке, сразу на „ты“, хорошо ли это?» Я сложил руки и сделал ученику наместе. «Все хорошо, что рождается радостно и без боли, сразу. Но иногда и боль нужна. Чтобы ярче ощутить радость. Садись, радость моя!»

Парень снял башмаки и сел перед мной на пол. Я сел на лавку. Чайник шумел. Мы ждали кипятка. Я сначала вволю помолчал, потом разлепил губы.

Что я ему говорил? Разве я помню? Я же не был на самом деле никаким гуру. Я не хотел быть учителем. Я просто был одинокий человек, и я шел к Истине. И вот один из тех, кто приходил ко мне, захотел приблизиться ко мне; но ведь и у Будды был ученик Ананда, хранитель Дхармы, и у Иисуса был ученик Иоанн, мальчик с румяными щеками, что потом написал великий и сверкающий, как елка в Новый год, пламенный Апокалипсис. И вот передо мной душа, что возжаждала водительства. Я должен был ее вести, и я не отказался. Разве отказываются от того, что тебе дарят? Разве отталкивают протянутую с куском хлеба руку?

Баттал, так он назвал себя, исповедовал ислам. Передо мной в позе лотоса сидел воин, которому больше пристало бы сидеть на коне под зеленым знаменем Аллаха. «Аллаху акбар! — это был первое, что сказал он мне. — Все боги ничто, Аллах — всё!» Я повертел головой, изображая несогласие. «Все Боги есть путники. Они идут к Истине. Все Боги проповедуют Истину и пророчат о Невозвратном. Не чти одного Бога превыше всех других. Ты можешь впасть в ересь избранничества. Не выбирай: это тебя выберут. Тебя уже выбрали. Но ты не видишь, не слышишь этого». Баттал усмехнулся. Пошевелил босыми ногами в черных сырых носках. «Ноги промокли, — сказал он, улыбаясь. — Да, меня выбрали. И меня выбрал Аллах. Хочешь узнать больше про Аллаха?»

Я кивнул, понимая, что мне из учителя сейчас надо превратиться в ученика. Это чистый дзен: тебя, владыку, ударяют палкой по голове и кричат: «Ты никто!» И ты на время становишься никем. И пока ты пребываешь никем, ты много чего узнаешь про себя и про людей.

Он говорил размеренно и длинно. В его речах везде звучал Аллах. Потом он устал и замолчал, и стал говорить я. Я говорил мало и скудно. Достаточно двух-трех слов, чтобы заявить об Истине.

Я взглянул в лицо Баттала и понял: он меня услышал.

Я сказал: «Сними носки, я повешу их на подрамник около печки, и они высохнут».

Он так и сделал. Я смотрел на его босые ноги. Он опять улыбался.

Радость моя, ты хочешь есть? Чайник вскипел. На столе лежит вареная картошка, а еще хлеб, а еще соленая рыба. Аллах запрещает есть свинину. У нас к обеду нет жареной свиньи, не беспокойся. Я заварю тебе чай с лепестками васильков.

И я заварил ему черный чай с синими лепестками васильков, и в моем холодном подвале пахло цветами и летом.

Истовая вера. Новый, кровавый Аллах. Я пытался наставить Баттала на путь к Истине. Он меня понимал, я видел это; но ноги сами несли его от Истины прочь, и меня это удручало. Я не мог схватить его за полу пиджака, за рукав свитера и вскричать: там опасно, не ходи туда! Он бы вырвал руку и все равно ушел. Но почему он не уходил от меня? Кто я был для него?

А разве на все вопросы нужны ответы?

Вслед за Батталом ко мне в подвал явились люди из Бурятии. Огромный толстый, радостный и лысый живой Будда, с ним тощая крошечная девочка, раскосая, с двумя смоляными косичками, и длинный, высоченный усатый мужик в черном пальто, ободранном котами, в красном шарфе, перекинутом через плечо. Усатый, похожий на молодого Сталина мужик в красном шарфе разжал руку, на ней лежал саянский лазурит. Я понял: я подарю его Софочке, так камень был красив. Камень этот, синий, круглый, с белыми облаками, с морями и океанами, с плывущими, сошед-

шими с места безумными материками, со льдом полюсов и белой солью пустынь, был сама синяя Земля, и я догадался: мне в подарок принесли всю Землю, и теперь я один должен знать, что с нею, с целой Землей, делать.

Буряты обступили меня, засмеялись, толстый Будда покачал лысой головой, в ухе у него при этом покачался крохотный золотой крестик, и пропел: «А мы новы буряты! Прощу любить и жаловать!» Они тоже, как и все остальные мои гости, расселись на полу, я подложил дрова в печку, и буряты пели мне народные бурятские и монгольские песни. Они пели, а я видел, как скакали по степи на конях воины Темучина. Красный шарф усатого воина был весь в дырках, его прогрызла моль, а у лысого Будды под курткой оказался тощий свитерок, и больше ничего, и он ежился и дрожал, и я накинул на него тулуп. Скуластая девочка с косичками сидела рядом с печкой, и красное пламя выхватывало из тьмы морщины в углах ее глаз и вокруг рта. Маленькая собачка до старости щенков, подумал я и галантно предложил старой девочке бутерброд с селедкой.

Буряты объяснили: они узнали обо мне на Московском вокзале от одного интеллигентного бомжа, что жил уже пятый месяц в зале ожидания, и тут же захотели меня посетить, а так у них времени в обрез, у них поезд до Улан-Удэ, в три часа ночи, транзитный, из Москвы, и они должны на него успеть, а денег на такси у них нет и на еду тоже нет, а ехать до Удэ четверо суток. Я отдал им все, что у меня было. И всю мою еду, что мне принесли, они тоже забрали. Жирный Будда сложил еду в заплечную сумку. Я смотрел на голый стол и радовался: я спас людей. Может, кто-то завтра спасет меня.

Они стояли на пороге и целовались со мной, все поочередно, сначала старая девочка встала на цыпочки и чмокнула меня в подбородок, потом усатый мрачный мужик в траченном молью шарфе приблизил ко мне лицо и пощекотал меня усами, и я разглядел, что у него, как у Сталина, лицо все в оспинах; потом толстый Будда крепко облапил меня и так притиснул к грузному тяжелому телу, что дух вылетел из меня и, хохоча, птицей забился под закопченным потолком. Спасибо, спасибо, друг, кричали они, ты настоящий Будда! Будда-Кришна! Ты Шива Натараджа, ты великий Брахма, мы все поняли! Ты щедр и прекрасен, ты велик! Велик воистину! Я смеялся и тоже обнимал и целовал их.

Потом, стоя в дверях, мы ухитрились поцеловаться все вместе: обнялись и крепко прижались друг к дружке, все вместе. Приезжай в Удэ, кричали они на разные лады, пригребай, прибредай, прикатывай, мы тебя встретим с почестями, мы с тобой поедем медитировать на гору Арсалан-Хада, в Тарбагатай! Арсалан-Хада, это Спящий Лев! Лев, проснись! Проснись и пой! Ты, Мицкевич, лев и Будда, ты Авалоки-тешвара, ты точно Аватар! Воплощенный! Просветленный!

Продолжая так кричать, они поднялись по деревянной гнилой лестнице и вышли вон из моего святого подвала.

После их ухода я хотел подмести полы, но не подмел; хотел еще подбросить досок в умирающий огонь, но не подбросил. Я устал. Умотался. Мне было лень.

Я открыл форточку и закурил. Я стоял около окна и смотрел на холодный ночной мир снизу вверх. Отсюда, из подвала, верхний мир казался царственным, алмазным; снег, деревья, звезды, фонари, людские ноги и полы людских шуб — все гляделось миром иным, несбыточным. Он дорого стоил и много весил на вселенских весах. А здесь, в подвале, где я стоял, все было простым, нищим и настоящим. Там, наверху, все могло исчезнуть в мгновение ока. Сгореть, потратиться, проштрафиться. А здесь, внизу, под землей, все было сработано на века.

Дым вился, убежал в форточку. Я тайно любил две простые вещи на свете: как пахнет табак и как пахнет кофе.

Начался новый век.

Я видел, как мы провожали старый.

Один век не похож на другой; и один век похож на другой, как похоже само на себя время, оно только притворяется разным.

Мы танцевали на ярко освещенных улицах, и мы выбирали плохих владык. Мы бросали в урны бумагу с напечатанными на ней именами, что нам ничего не говорили, и мы грабили магазины и склады, убивали детей в постелях, давили пьяными машинами людей на остановках, а главное, мы воевали. Воевали! Босния, Афганистан, Вьетнам, Чечня, Карабах, Ирак, Ирландия, да где только не рвались снаряды, кровь лилась гуще некуда, все камни были в крови, весь песок и асфальт. Так весело мы провожали старый век, и на Кавказе в людей стреляли снайперы, и мы подписывали ноты протеста, и мы беспомощно разводили руками в парламенте, и мы обманывали, если нас просили сказать правду, и мы бросали в лицо людям святую и страшную правду, когда нас коленопреклоненно умоляли: ну не скажи, ну сокрой, набрось покрывало, ну обмани, наври с три короба, ну что тебе стоит!

Мир, мир, все мирское обрушивалось, угнетало и жгло. Мир, ах, какое славное, сладкое слово! Мир — это совсем не значит замирение, глоток воздуха между войнами; это огромный круг, гигантский круг Света, чистая и яркая, ясная Вселенная, и ее мы сделали кругом яда и Тьмы. Еще не сделали до конца; но усердно делаем. Наши пальцы лепят и лепят Тьму, руки наши все почернели, проржавели от Тьмы, и я видел все четче: никакой дзен, никакая старая религия, ни Христос, ни Будда, ни Иегова никакой не спасет нас от ее нашествия.

А Аллах? Он кто? Он с кем? Он — Тьма или Свет?

Над нами, над пологом нового века, висел, качался призрак Третьей мировой войны; а я видел, она уже шла — на каждом перекрестке, внутри каждого вокзала и рынка, внутри оперных и концертных залов, на переполненных людьми кораблях и океанских паромах. Мировая война шла, и мы не заметили, как она набрала силу. Ее оружие теперь было — не танки и ракеты, хотя и танков, и ракет было припасено у людей в изобилии; ее оружие было — самодельная взрывчатка, растяжки, мины, гранаты.

А может, ее оружие было — горячие безумные речи, что звучали с амвонов, с минаретов, с трибун площадей?

Человек безумен. Это так, не спорьте. Если бы человек был разумен, он давно бы утопил все оружие на дне моря и вздохнул спокойно. Мозг человека поражен бациллой, вирусом, грибок. Этот грибок источит мозг в кружево, в снежные тонкие узоры. Это будет самое красивое кружево в подлунном мире. Круг Луны, свет Луны будет его озарять, будет играть в переливах тонкой ткани, в изящных дырках. Этот кружевной мозг уже не будет мыслить. Да ему и не надо мыслить: он уже пища, его съедает Тот, кто жаждет владеть Землей, Луной, Солнцем, звездами, миром живых и неживых. Дьявол реален. Он слишком настоящий, чтобы от него можно было так просто отмахнуться.

Призрак Третьей мировой? Не призрак, а живой железный рыцарь; он в гремящих латах, у него на башке шлем с железными стрекозиными громадными глазами, вместо железных башмаков у него ракеты с ядерными боеголовками, его стальной панцирь не пробьешь, только удар — получишь ответный удар, немедленно, сию секунду. И мир сначала вспыхнет, потом погрузится во Тьму.

Но прежде Судного Дня взойдет отравленное солнце, и наступит День перед Судом.

Он будет, может быть, страшнее Суда самого.

Люди вдохнут вместо воздуха яд и задохнутся. На людей набросится железная саранча и пожрет их, выест им глаза и языки. Люди захотят воды — и не смогут напиться из отравленных рек; люди поползут по земле друг к другу, чтобы обняться напоследок, и вот тут рванет огонь, чтобы раз и навсегда покончить с этим ядовитым грибок на теле земли, с человеком. Огонь уничтожит нас, чтобы мы больше не мучили. Иначе мы и себя изведем, и землю изгрызем в пыль и прах.

Баттал истово верил в Аллаха. Аллах был его хлебом, его водой, его воздухом, его клятвой и всем остальным, что окружало и обнимало его и что рожал на свет он сам: Аллах был его мыслями, его улыбкой, его ступнями — ими он шел по земле, и земля ему тоже Аллахом была. Такая истовая вера меня пугала. Я не раз пытался сказать Батталу, что имя Бога не есть Бог, что единственность убивает множественность; он слушал, по его лицу бродила улыбка Аллаха. По моим губам — улыбка Будды. Мы, живые боги на земле, два нищих человека, смотрели друг на друга и еле удерживались, чтобы не расхохотаться.

Но иногда я говорил с ним серьезно.

Баттал был немногословен. С виду он казался веселым парнем. Но часто, рассмеявшись, умолкал. Его молчание пригнетало, ложилось на плечи, на темя ударом тяжелого молота. Молчание Баттала било мне в лоб и в грудь, и я пытался отвести, облегчить эти тяжелые удары бесконечной вязью веселых рассказов. Я-то сам, видите, веселый человек. Ничего никогда не надо воспринимать с серьезной миной! Да, жизнь серьезна, но не настолько, чтобы искривить брови и губы в скорбной маске и тяжело вздыхать над своей участью! Веселитесь, пойте — даже у расстрельной стенки, даже на костре! Моя жена Верочка не раз говаривала мне: ты, Андрюшка, шут гороховый. Все бы тебе шутить. Шутишь, шутишь и дошутишься!

И, может быть, я уже дошутился. Не знаю. Близок край!

Баттал молчал, а потом говорил странно и выпендрено, сурами Корана. Или мне так казалось, что сурами. Суры, сутры! У арабов суры, у индусов сутры. На Востоке все едино; само арабское слово «сура» происходит ведь от индийского «Сурья» — Солнце; это санскрит. Видели вы когда-нибудь письма на санскрите? Нет? Ну в Сети поглядите, сейчас все можно увидеть в Сети. А я увидел знаки санскрита впервые в моем заплесневелом подвале, когда туда явилась однажды девушка Лена, она была вайшнавка, ну, значит, в Кришну верила, и она принесла мне торт с настоящими ягодами вишни, вяленые персики, рис и топленое масло, в уплату за мои уроки философии, а потом вынула из-за пазухи свернутую в трубочку корявую и толстую, как кожа, бумагу, на ней были процарапаны странные крючки и узоры, и на звонком чужом языке стала по этой бумаге мне читать. Мне чудилось: Лена — инопланетянка, она прилетела с Марса и вот читает мне звездные стихи. Стихи из Космоса. Потом она открыла печную дверцу и швырнула бумагу в огонь. «Ничего на самом деле нет — так учил великий Будда, — сказала она тихо, — и писем этих нет, и огня нет, и мороза на улице нет, и нас тоже». Потом мы были рядом. Рядом, но не вместе. Вместе — это же бывает так редко на земле, я уже вам говорил.

Ну что вы хотите, я же был еще не старик, мне тогда еще нужна была живая женщина.

Но женщина была нужна мне все реже и реже.

Потом вайшнавка Лена взяла мои янтарные четки, что висели на медном гвозде, и научила меня правильно их перебирать: ты держишь в пальцах янтарную бусину и в это время говоришь молитву; потом хватаешь другую бусину и говоришь новую молитву. Я смеялся: милая, я не знаю столько молитв! Здесь же сто восемь бу-

син, я сосчитал! Лена сдвигала густые, как у мужика, брови. «Это неважно. Говори любую. Лишь бы из сердца».

Сура Аллаха Всемогущего, Алмазная Сутра Будды Татхагаты. Все едино.

И вот я сижу в позе лотоса и перебираю четки, и из моей чакры анахаты идет в мир молитва.

На каждую бусину — своя.

А на самом деле одна одна, молитва эта.

Земля, не умри. Не умри. Не умри. Не умри. Не умри.

Даже если мы вдруг, в одночасье, все умрем, сгорим, ну ведь что-то от нас да останется? Да? Да? Ведь правда?

Кто это говорил? Я? Или кто-то рядом со мной?

Или тот, кто всегда был вместе со мной?

Подвальная школа жизни моя процветала. Люди приходили и уходили. Люди рядом со мной долго не задерживались, я был им нужен, как мостки через лужу: перебежали, ног не замочили, от грязи упаслись, и ладно. И это было мудро, хорошо устроено. Правильный это был расклад. Я спасал их души от распада, а они за это, случайные, мимолетные, кормили меня. Вам денег дать? Нет, не надо! Ну возьмите, вы же учитель! Спасибо! Я складывал ладони лодочкой и кланялся. Я редко видел себя в зеркале: волосы свои, вытащив их из расчески, я сжигал, а зеркало прятал под подушку, чтобы в нем ненароком не отразились темные сущности, иной раз влетающие ко мне в открытую форточку, как невидимые летучие мыши. Зеркало — опасная вещь. Оно если разобьется, осколков не соберешь; и так же может разбиться и разлететься в стороны твоя жизнь. Зеркало с трещиной — это трещина через твое сердце. Тебя постигнет любовное горе. Да и просто горе, необязательно любовное; тебя обманут, продадут и предадут. А зачем тебе эта головная боль? Если зеркало целехонько — избегай смотреться в него то и дело. Ты же не девица на выданье. И не только что из парикмахерской. Чем чаще ты в зеркало заглядываешь, тем больше утекает в него из тебя, глупого, энергии ци. Ты что, не хочешь себя сохранить? Хочешь на тот свет скорее?

Впрочем, может, ты и прав, что поспешаешь. Там всяко-разно будет лучше, чем здесь. Счастливее.

Я все меньше нуждался в деньгах-бумажках, все чаще отказывался от них, и удивленные моим отказом люди приносили мне, в уплату за уроки духа, в счастливых руках счастливую еду. Я вкушал эту еду когда с ними, когда один, когда с Батталом. Улыбка Аллаха и улыбка Будды не сходили с наших лиц. Камешек батюшки Серафима лежал на подоконнике, муравьи, ползая по муравейнику между рамами, подползали к священному камню, но не могли пролезть через стекло. Я указывал Батталу на муравья, что беспомощно тыкался черной головой, булабочной головкой, в грязное стекло. «Видишь, муравей хочет перейти грань, но не может пробить стекло? Он надавливает всем телом, но стекло неодолимо. Не дави телом! Отпусти душу. Перелеги душой. Ты понял?» Баттал брал с немывтого блюдца кусок конской колбасы, щедрое пожертвование учеников, забрасывал в рот и, закрыв глаза, с наслаждением жевал и втягивал слюну.

А мне жевать твердую конскую колбасу уже было нечем — из-за жизни в подвале, в сырости и холоде, я растерял все зубы, но Господь Иисус сделал так, что я еще не шепелявил, а Господь Будда велел мне улыбаться над несчастьем, а Господь Кришна веселил меня небесной музыкой.

Какой музыкой, спросите? Мне в награду за мудрость приносили не только пищу, но и музыку.

Несли колокольчики Кришны. С ними можно было идти на Большую Покровку, приплясывать с босыми вайшнавами и петь «Харе, Кришна». Несли тибетские поющие чаши. Я знал, они дорого стоили. Надо чашу ударить специальной палкой, а потом ею возить, скользить по медному краю. И тогда чаша будет петь, звучать, звенеть, стонать, отдаленно кричать, и кто-то далекий будет кричать вместе с ней, уходить, махать рукой, исчезать. А ты, ловя ушами отзвук мира, будешь неподвижно сидеть и плакать. Или улыбаться, на выбор.

Вот и у меня теперь стояли на столе такие медные чаши; они умели стонать и плакать, они пели мне последнюю молитву.

За окном подвала мело. Мело по всей земле, и заметало мой мозг, уже научившийся не думать, мою голову: метель вдевала мне в конский хвост седые нити, сегодня одну белую нить, завтра другую, и я не уставал благодарить воистину всех богов моей земли за то, что они дали мне чудо дыхания и чудо осознания себя. Ха — Тха, Солнце — Луна, жизнь — смерть. Воля преходяща. Разум преходящ. Вера преходяща. Да, даже вера, на которую возлагают столько надежды. Одна лишь любовь живет воистину. Воистину, воистину и еще раз воистину.

И сквозь ночь и метель, моя последняя ночная молитва, каждый раз, когда я уходил ко сну, ложился на голую деревянную лавку и укрывался старым овечьим тулупом, была: Господи Истины, я ведь уже умер, я уже мертв, и я уже пережил Третью мировую войну, вот я гляжу на ее дела, на ее руины и на выживших людей ее; и, Господи, я пишу письма, я пишу письма своему мертвому сыну, а вы говорите, что мой сын жив? — да я толком не знаю, жив он или уже мертв, ведь Третья мировая съела и его, схрупала с косточками, перемолола зубами своих бомб и пуль, тюрем и лагерей, а вот я пишу ему письмо, и завтра напишу, и послезавтра напишу, и всегда напишу, если жив буду. На церковнославянском, еже писах — писах. На узорчатом санскрите. На арабской морозной вязи. На космическом, на марсианском языке. На языке плачущих тибетских чаш.

Милый мой Юрочка! Я часто думаю о тебе. Окна моего подвала снаружи затянута брезентом. Это я осторожно, натянув на голову старый противогаз, выползал на улицу и затянул два моих окна старым брезентом, когда-то давно мне его принесли, чтобы я напихал в него ваты и пошил из него себе одеяло. Принесла одна девушка, ты ее никогда не видел, не знаешь. Она верила в Кришну. Я так думаю, она первая погибла, потому что она жила на улице, ходила-бродила, танцевала и звенела колокольчиками, побиралась, смеялась; только зимой, когда наступали холода, она ночевала на вокзалах и у друзей, в подвалах и на чердаках. Эта девушка увидела, что я сплю под овчинным тулупом, и приволокла мне грязный лодочный брезент, и жестко сказала, как приказала: шей себе одеяло. Я поклонился в пол, благодаря ее за царский подарок.

Милый мой сынок, жизнь вообще царский подарок. Мы могли бы не жить. Я мог бы не жить, ты мог бы не жить. Вот ты проклинаешь нас с матерью за то, что мы тебя родили. И ты не раз хотел свести счеты с жизнью. А жизнь сама с нами счеты свела.

Нет. Я не прав. Это мы, мы все свели счеты с нею.

Но мы, честно, мы все не думали, что мы убьем себя так скоро. Взрывы раздались везде, по всей земле. Земля, в недрах своих, хранила слишком много смерти. Она просто со смертью не справилась. Она долго была ею беременна, и когда-то наступило время родить.

Знаешь, милый Юра, я ведь и теперь пишу картины. Правда, чаще я пишу их мысленно. Но пока у меня еще остались масляные краски, и пока еще есть разбавитель, чтобы в нем вымыть засохшие кисти, и пока глядит на меня с мольберта чистый холст, я буду работать. К живописи, как и к женщине, можно охладеть. Можно охладеть к философии. К любой религии. Какой Бог, если нашу землю люди взорвали? И Бог это попустил?

А может, все исполнилось, все-все, что ученик Иисуса, Иоанн Богослов, предрек, и вот случился предсказанный Апокалипсис, и огненная смерть вспыхнула и исчезла, и на ее место прилетела незримая саранча, невидимая радиация? Какая вечная тьма стоит под пологом моего брезента! Я наивно думаю, что он не пропускает радиацию. На всякий случай я вылил на брезент бутылку водки. Побрызгал его водкой. Все-таки спирт, я что-то помню, о нем говорили, что он спасает от лучевой болезни. Те, кто облучился на испытаниях атомных бомб, на атолле Бикини, в Хиросиме и Нагасаки, в Чернобыле, пили водку просто стаканами — и так спаслись.

Это им только казалось. На самом деле они прожили на неделю, на две больше.

Но что такое две недели жизни перед всею жизнью!

Сынок, нет времени. Я только теперь это понял. Ведь вся эта война была предрешена, назначена. Нам было от нее не отвертеться. Мы все перессорились из-за наших богов. Кто лучше, хотели решить мы! Одни оралы: наш Аллах круче всех! Другие вопили: нет, Христос, нет, Христос! Третьи молчали и ходили вокруг своих атомных бомб, и гладили их по бокам, как жирных котов, и опять молчали. И улыбались улыбкой Будды. А евреи кричали: долой «Хезболду!» — и бомбили арабов. А корейцы кричали: долой американцев! — и бомбили Калифорнию. А Исламское государство? После того как случился Апокалипсис, среди выживших ходили слухи, что это люди из Исламского государства пробрались к красным кнопкам, поубивали охрану, набрали шифр и, скалясь, нажали красные круги. И сделали нам Судный день; ну, да если он был предсказан учеником Бога, то не случиться он не мог.

Не мог!

Юрочка, дорогой мой сынок. Я плачу по твоей маме. Может так быть, если она выжила, ее спасет ее любимая водка. Она будет пить водку и какое-то время не умрет. Но водке придет конец. Как любому продукту на свете; любой вещи; любому зелью и яству. И мать твоя сядет на пол, обхватит ладонями пустую бутылку и будет плакать. Потом у нее станут вылезать волосы, тело покроется язвами и остановится сердце. Сумерки! Тьма! Мы живем внутри тьмы. Тьма — это мать. Ты знаешь об этом?

Тьма. Тьматьматьматьматьматьматьматьматьмать. Мать.

Мы все, войдя во тьму, вернемся в утробу матери. Тогда зачем я так цепляюсь за жизнь?

Тьма, вот во что превратился Свет. Дневного света больше нет. Есть законный мрак, и это не потому, что мои окна затянуты брезентом. Землю обволок дым, сквозь этот дым давно не видно ни солнца, ни луны, ни звезд, ни облаков. Мы живем на дне темного океана. Мы глубоководные рыбы, и мы все поражены одной болезнью. Неизлечимой. Счастливы те, кто умер сразу. Я всегда говорил своим ученикам, что приходили ко мне в подвал слушать про Истину: самый счастливый тот, кто сгорел в огне. Кого обнял и взял огонь. Огонь — это Свет, Свет — это Истина. Ученики мне возражали: но ведь больно это, сгореть в огне! На что я им отвечал: боль есть воспоминание о боли, забудь боль, и боль забудет тебя. А то, что ты не увидишь и не услышишь еще целой вереницы бесчисленных страданий твоей несчастной земли, это и есть величайшее счастье.

Так я учил! Так я был глуп!

Сын мой, теперь я так не считаю. Я всё понял.

Счастье — это когда ты страдаешь, празднуешь и умираешь вместе со своей землей. Только вместе. Разделить жизнь и смерть — это и есть любовь.

А кто такие мы сейчас? Доходяги, оборвыши, оглодыши? Больные сироты? Покрытые струпьями, издающие стоны, живые гнилые бревна? Мы просто объедали человечества, мы его огрызки, а боги выпили на небесной трапезе, вмазали хорошо, от души, огненный фейерверк устроили, бокалы с кровью подняли, нами закусили, рты утерли, грязную скатерть сорвали и в печку небесную бросили — сжечь после праздника мусор. Перед праздником уборка, после праздника уборка. Моют полы, сметают пыль, жгут отрепья.

Полно, да боги ли это? А не дьяволы ли?

Может, дьявол-то не один, как принято было думать до сих пор, а дьяволов много?

Много, много. Дьяволов очень много. Человеки, многие, обратились в дьяволов. И бегали по свету. И изготовляли оружие. И трудились над этой последней войной, трудились в поте лица, хотя и они прекрасно знали, что погибнут вместе со всеми. А вот поди ж ты! Умереть захотелось!

Эрос, Танатос. Майя, Яма. Тебя распяли — Ты воскрес. Я всё вспомнил. Любовь и смерть, они тоже рядом. Рядом, но не вместе. У любви тяга к смерти, много великих любовников убили себя, не желая разлучаться. Перед Судным днем я видел фильм. А может, это были новости. Мальчик и девочка, обоим по пятнадцать лет, у девочки умер отчим, мать похоронила мужа и укатила на юг, отдыхать, развеяться, в доме стоял сейф покойного отчима, девочка позвала в гости мальчика, влюбленные дети умело взломали сейф, там лежали карабин и пистолет «руби». Мальчик набрал телефон полиции. «Приезжайте, козлы, — крикнул он в трубку, — мы вас убьем!» Полиция прикатила немедленно. Мальчик и девочка включились в Сеть, все в Сети видели, что происходит. Дети открыли окно и палили в полицейских из «руби» и охотничьего карабина. Стреляли метко. Всех поубивали. В живых остался шофер. Он скрючился и сел, закрыв голову руками, на пол полицейской машины. Прикатила еще одна. Напрасно. Дети весело сказали в камеру: «Прощайте все, мы себя убиваем! Жизнь была весела и прекрасна! Мы уходим в полном сознании того, что мы делаем! Мы как Бонни и Клайд! Да здравствует любовь!» Мальчик выстрелил в девочку из карабина, потом поднес «руби» к виску и застрелился. Люди во всем мире видели, как раз другой дернулись его ноги и он затих.

Полицейские, вопя, ворвались в квартиру, ну и что? Весь мир видел смерть детей, ну и что?

Сегодня видел, завтра забудет.

Сегодня все мы подышаем на всей земле от лучевой болезни. А завтра мы все умрем, и некому даже будет забывать нашу смерть. У природы нет памяти. У облаков, у ветра, у планет, у звезд, у тьмы памяти нет.

О, сын, погоди! А если есть?

Если у земли есть память? Если у неба есть память?

И они все запомнят, все, что сотворили мы с ними и с собой?

Сынок, я сижу здесь уже давно. Этот подвал — мой бункер. Я почти ослеп от взрыва, но постепенно ко мне вернулось зрение. Вернее, его ошметок. Вижу я теперь очень плохо. Зубов у меня уже нет ни одного. У меня еще есть запасы крупы: пшенки, риса и гречки, мне приносили крупу в награду за мои откровения. Жаль, не я написал Апокалипсис. У меня бы лучше получилось. Честно, лучше. Потому что я ведь видел его живьем.

Так писал я сыну Юрке письмо, между тьмой и светом, между свечкой и печкой, между явью и бредом, да, конечно же, по меркам здорового обывателя я бредил, и мне надо было бы выпить таблетку, а может, полстакана водки, а может, обвязать лоб мокрым полотенцем; я сидел и писал письмо тусклой шариковой ручкой на плохой бумаге, на желтых листах в клеточку, вырванных из найденных мною в подвале старых школьных тетрадей по арифметике. Я сидел в подвале один, а мне казалось, тут, рядом, лежит Верочка, я сижу с нею рядом, она лежит на расстеленном на полу овечьем тулупе, тулуп вывернут мехом вверх, и желтые овечьи кудри обнимают голые, в страшных язвах, Верочкины руки и ноги. Нет, я не был пьян! И я не сошел с ума! Мы оба, я и моя жена, находились в подвале под музеем, где хранились великие картины. Полотна великих мастеров. И среди них, я знал это, висели мои холсты. Пусть рамы обгорели. Пусть закоптился взрывом лак. Огонь оставил только то, что нужно оставить. Из тьмы выступало лицо Матушки, между ее поднятыми руками, между ладонями бился, катался и играл шар Света.

Нет, я ошибся, это был подвал под церковью. Под православным храмом. Я сидел, жена лежала под каменными плитами, и вокруг нас стояли старинные бочки — с вином для причастий или с монастырским медом, а может, с овсом — для лошадей, а может, с порохом — воевать. Забитое в бочки и малые бочонки, стояло и гнило во тьме время. Его не было, но люди упорно превращали его чистую пустоту в зерно и вино, в опилки и взрывчатку. Свеча догорала. Я оборачивался: жена моя лежала лицом вверх, с закрытыми глазами, у нее вылезли уже почти все волосы, лысая голова тускло светилась в подвальном мраке.

Мы прожили один день? Или десять месяцев? Или десять лет? Годы или секунды — а какая разница?

Милый сын, шептал я ему и плохо слышал сам себя и быстро, судорожно записывал вслед за шепотом эти слова, здесь, в темном подвале, я буду ждать, когда твоя мать умрет, это произойдет совсем скоро, а потом я буду ждать тебя. Ты получишь это письмо. Ты считаешь его с невидимой ветхой бумаги, она тебе приснится, а потом рассыплется в твоих ночных слабых руках. Скажи, у тебя тоже вылезают волосы? И ты тоже харкаешь кровью?

Почему же я всего этого не делаю? Я что, не облучился, не схватил дозу? Или я оказался здоровее всех? Сильнее всех?

Может, я и правда Бог?

Может, мне уже по чину беседовать с богами, писать им торжественное письмо, а не бедному сыну моему?

Где ты, Юрочка? В тюрьме? Но ведь все тюрьмы взорвали. В лагере? Но все лагерь сожгли. Ты идешь босыми ногами по опасному пеплу. У тебя даже нет противогАЗа. Здесь, в подвале под церковью, я нашел противогАЗовую маску 1914 года изготовления. Может, это немецкая маска, трофейная; а может, русская. Мы тогда их быстро делать научились. Как много лет прошло! Одна минута. Секунда. Нам орали: газы! — и мы, несчастные солдаты, натягивали эти резиновые страшные маски на головы и становились похожи на недоношенных слонят, и через миг-другой было трудно дышать, как перед смертью.

Так я сидел, и бредил, и оборачивался то и дело, тулуп все лежал на полу шерстью вверх, Верочка лежала, она спала, а я, спал ли я? Может, я должен закутать ей лицо мокрой тряпкой, обвязать мокрым полотенцем себе рот и нос, подхватить ее на руки и идти с нею в тот бункер, где нас приютят навсегда, до нашего настоящего конца?

Дорога открыта. Радиоактивный снег мерцает. Где свет? С небес же он не льется!

Кто-то зажег свечу и воткнул ее в сугроб. Кто-то вышел на улицу. Кто-то остался живой, как и я. Эй, кто живой! Скажите, который час! Который век! Я думаю, еще ночь. Но уже скоро рассветет. Ди пхи юй чхоу, Земля рождена в Час Быка, так учили древние умные китайцы. Верочка! Как ты тяжело дышишь! Боже мой, спаси ее, она умирает!

Какого Бога я зову? Кому молюсь? Где моя противогазовая маска?

Наступит час, и все мы обратимся в пепел. Он будет заразный и опасный. Его нельзя будет собрать в мешочек и носить на груди. Он никогда не станет ни кисетом с табаком, ни сахаром и солью, ни елочной игрушкой. Господи, а ведь Ты ребенок! Господи, Ты тоже мой сын! Мой далекий сын! Тебя прибили гвоздями ко кресту, а Ты воскрес! А ведь скоро Новый год, опять Новый год, Ты сохраняешь нам наше время, пока еще хранишь его для нас, ждущих жизни, и выпускаешь его на волю из золотой шкатулки, из темной кувуклии, там, далеко отсюда, от снегов и метелей, в храме Гроба Господня, а я так мечтаю туда добраться хоть раз в жизни; там Твой Огонь загорается, и люди счастливо вздыхают: пока нам еще сохранили жизнь, пока еще ее живой огонь горит в руках над безумными от радости головами, над пучками белых тонких свеч, рядом с лицами в слезах, между дрожащих ладоней.

И жги не жги свечку, а все равно настанет ночь, ночь из ночей.

Для меня это была Ночь Оползня.

Дело все в том, что деревянный двухэтажный дом, где я жил в затянутом плесенью подвале, в священной моей одинокой обители, стоял на самом краю огромного оврага. Наш город, Нижний Новгород, в советские года закрытый на все замки и крючки, цель № 2 для атомного удара после Москвы, город Горький, где ясные зорьки, стоит на высоких холмах вдоль Оки и Волги, разбросан по взгорьям и увалам, разрезан ножами оврагов и ручьев. О, как по весне в Нижнем цветут еще не убитые, не спиленные вишни и яблони! И как затягивается свежей буйной травой чудовишный мусор на дне оврагов! Мой дом, на краю обрыва, стоял и ждал своей участи.

И дождался.

Я, как обычно, тепло натопил печку, встал на колени перед «Троицей» Рублева и колокольчиками Кришны, что подарила мне кришнаитка Лена, сложил руки на груди и помолился: за всех ушедших и живущих. Потом сел в позу лотоса и стал медитировать. Ко мне вереницей шли видения. Я спокойно принимал их, отворив сердечную чакру анахату, у меня не было времени осмысливать их — я ведь отключил мозг, как всегда. Потом я крепко потер ладонь о ладонь, провел теплыми ладонями по лицу снизу вверх: умылся. Так умываются отшельники. Потом я снял брюки, остался в шерстяных трико и полосатой тельняшке, крепче стянул конский хвост резинкой, выключил лампу и лег спать.

Вместо лавки у меня уже было подобие кровати — я сам сколотил ее из старых ящичков, досок и бросовых бревен. Ну я же все-таки был краснодеревщик, плотник. Кровать получилась широкая, мои ученики шутили: «Учитель, вам бы здесь пару вазу рядом положить! Женщину! Тогда будет гармония». Я смеялся и качал головой: «Тогда будет несвобода. Я не семейный человек».

Среди ночи я услышал дикий шум, раскрыл глаза и увидел бешеный свет.

Свет метался, лучи очумело бегали по стенам подвала, разрезали стекла окон. Муравьи за стеклом всполошились, муравейник весь шевелился. Люди грохотали сапогами по лестницам. Я вскочил, быстро, как в армии, оделся. Выбежал из подвала.

Взбежал по шаткой деревянной лестнице. Дверь подъезда, распахнутая настежь, вбирала и выплевывала людей, вспышки света, вопли, гудки машин и опять слепящие огни фар и фонарей. «Что это?!» — заорал я, не думая, что меня кто-то услышит и ответит. Из-под локтя вывернулась старуха соседка. К ее ногам жалась белая грязная болонка. «А, художник подземный! — крикнула старуха и обнажила то ли в нервной улыбке, то ли в оскале испуга коричневые зубы. — Вот и выполз наружу, червь! Падаем мы! Падаем, слышишь! В землю сползаем! Умираем! Шас провалимся в тартарары, и поминай как звали!»

Это все она кричала уже мне в спину. Я вынесся на улицу, озирался. Края оврага, где по теплу росли одичалые вишни, золотые шары и мышинный горошек, больше не было. Не было и серых сараев. Я не разглядел их на дне оврага; они ушли под землю. В широченную черную трещину, медленно открывшийся зев земли. «Мы сейчас провалимся, дети, дети, уходите, быстро, убегайте!» Матери вопили что есть мочи, но дети не слушали их — как зачарованные, они стояли у обрыва и глядели, как ползет и содрогается земля.

Наш дом тоже дрожал, и полз, и плыл. Деревянная старая, дырявая лодка. Она давно должна была потонуть, но все еще плыла. Сколько таких лодок по всему Нижнему, по всей старой России, по ее городам, городочкам и селам! Несчетно. В них нельзя жить, они прогнили до основания, но люди живут. Мы — живем. Живем и Бога благодарим, что есть крыша над головой.

Из машин аварийной службы люди в оранжевых жилетах тянули шланги, канаты, мешки — зачем? Какую воду откачивать, кого в мешки пихать?

Я оглянулся. Попятился. Дом медленно полз вперед, на меня, на всех нас. Мы, ощупывая незрячими руками воздух, как будто воздух уплотнился и стал густым и вязким, двигались по краю обрыва, и впереди маячил плывущий на нас деревянный корабль, а позади зияла пустота, пахнущая землей, могилой. «Сейчас рухнет!» — истошно крикнул женский голос, и рядом густым церковным колоколом прогудел мужской: «Береги-и-и-ис!»

Я шатнулся и, чтобы не упасть, ухватился за голую обледенелую ветку. Дерево цеплялось корнями за землю. Дерево не хотело в преисподнюю. И Бог услышал молитву дерева. Люди-то не молились, а только орали и метались. Дом дополз до края оврага и застыл.

Замер.

И замерли все. Все будто заснули. Заснули голые, в серьгах и брошках льда, деревья и кусты. Заснули далекие миражи кровавых кремлевских башен. Слепые, в бельмах грязи, фонари на одиноких черных деревянных ногах. Заснули, перестав урчать моторами, казенные машины. Заснули звезды среди туч, и черные огромные собаки на снегу, и лысый мужик в кудрявом тулупе, что курил, усевшись на перевернутое ведро, и папироса выпала у него из спящих рук. Заснула, медленно рассыпаясь на восковые, медовые плашки, поленница дров. Заснули в спешке вытасщенные, вываленные в сугробы шкафы и пальто, шубенки и швейные машинки, холодильники и куклы, книги в картофельных мешках и зимняя картошка в дорожных чемоданах. Заснул, распахнутый настежь, семейный альбом со старинными фотографиями, и я, художник, ловил все цепким глазом — коричневые, сепией, тонкие лица девушек, кружевные воротники учениц епархиального училища, чистые халаты строгих земских врачей, первые советские трактора на берегу реки, строительство плотины, свадьба с поцелуями, подарками и веселой гармошкой, солдат на фоне родного танка, и родная красная звезда на боку танка и на скособоченной пилотке, и надпись на танке, кривая и размашистая: «На Берлин!». Заснул велосипед с сор-

ванной цепью, заснул перевернутый днищем вверх ржавый катер, заснули сосульки на карнизах и голуби под крышей. Не шевелилось ничто. И никто не шевелился. Одна бессонная земля еще дышала, поднимала обезумевшую грудь. Но и она заснула и застыла.

И среди спящих, среди их ледяного путешествия, плавания в черное никуда, среди тишины, внезапно обнявшей всех нас на краю оврага, раздался нежный детский голос: «Мама, почему все уснули? Где наш котенок? Я не хочу, чтобы он умер!»

Это был голос ангела. Но это понял только я.

Ангел воссиял, изронил живое слово любви и остановил смещение земли. Прервал казнь.

Наша общая смерть была отсрочена сегодня. На сколько? На год? Два? Десять лет? На столетие? На тысячу лет?

И, услышав про котенка, проснулись и ожили люди. Все загудело, задрожало, закричало и захлопотало. Исчезла обреченность. Рок отступил. Земля больше не обваливалась вниз, в ад и тьму, громадными сырыми кусками. Люди кричали, тащили вещи, укрывали руками, локтями и животами, фартуками и вязаными кофтами плачущих детей, парни вели за рога велосипеды, фары грузовика загорались и гасли, рабочие сворачивали мертвыми удавами толстые шланги, а наш дом на обрыве единственный, среди всеобщей толкотни, замер, замерз, закоченел, и мы все вдруг дружно на него глянули и подумали, чтобы — навек.

«О, если б навеки так было!» — пела мне однажды одну песню кришнаитка Лена.

Песню пела, печка горела.

А может, это ария какая была, из какой оперы, не знаю.

Кришнаитка Лена, с которой я не хотел ложиться в постель, хотел сбечь ее святость и принадлежность богу Кришне, но все-таки однажды лег, погибла. Она с матерью и подружкой поехала на автомобиле в Москву — покупать с рук шубу у еще одной подружки; московская подружка привезла три дешевых шубы из Греции, и три женщины вытащили из тайников сбережения и весело отправились в столицу — покупать греческие меха. Шубы были куплены, норковые, и правда дешево. Кроме шуб, женщины закупили в Москве ящик апельсинов, к Новому году, и две бутылки армянского коньяка, пять звездочек. Счастливый праздник был обеспечен.

Машину вела подружка. Может быть, она немного выпила, не знаю. Отхлебнула коньячка, попробовала тайком, без закуски. Может, дорога была скользкая. Зима, декабрь. Корка льда по всему Московскому шоссе; и блещит, как шкура черной змеи. И машины, людские железные коробки, безумный ветер заносит и переворачивает колесами вверх, валит в кювет.

Подружка не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Столкнулась с грузовиком. Грузовику хоть бы что, а «Жигули» всмятку. Лена сидела на переднем сиденье. Она не пристегнула ремень. А зачем? Свободу любит Кришна!

Она разбилась на машине, ей было всего двадцать четыре года. Я вспомнил, что я однажды нарисовал ее.

Я вытащил из-за шкафа ее портрет. Зажег свечу и начал портрет рассматривать. Остался доволен собой как художником. Я точно положил штрихи, светотень, тонко очертил профиль. Деревья вместо волос... облака плывут над головой, блее лилии... что это... что это?

Я беззвучно, одними губами лепил: «Безмолвная, это Безмолвная».

Я смотрел на свою давнюю картину «Безмолвная», и я понимал: вот он, портрет кришнаитки Лены, и я ее написал когда-то, когда еще не знал ее, и она умерла.

Что-то тут не так, подумал я, полез за печку — и стал один за другим вытаскивать портреты: и холст-масло, и гуашь, и акварель, и карандашные наброски — и потрясенно соображать: этого нет, и этой уже нет, и этот умер, и этот покончил с собой, и эта, малютка, девочка-Дюймовочка, умерла в больнице от лейкемии. Какое счастье, что я ни разу не нарисовал ни Верочку, ни Софочку, ни Юрочку! Значит, они будут жить. Будут жить!

С тех пор я перестал писать портреты. Я понял: существует непонятная связь между изображением человека и его уходом. Ну, словно бы я рисую человека в его память, посмертно. Чтобы о нем вспомнили, о нем поплакали дети и внуки. Но ни дети, ни внуки никогда не увидят портрет кришнаитки Лены: она не успела полюбить, не успела выйти замуж и родить. То, что я однажды был с ней рядом, ничего не значит.

Рядом, но не вместе.

И, глядя на ее портрет, на торжественную, как царская лилия, «Безмолвную», я вдруг понял: я написал его для себя, в память себе, в память о ней для себя, на всю мою оставшуюся жизнь. Дерево растет, вцепляется корнями в разумную землю, и облака мыслей плывут, не зацепляясь за раздутую ветром листву. Лена умерла, а я буду глядеть на этот портрет и всегда ее буду помнить.

Но вот чудеса! Я глядел на портрет кришнаитки Лены, а видел перед собой ту забытую проводницу, в лихой пилотке, в том скором поезде на юг, с голыми худыми ногами, в полутемном купе с наспех зашторенным окном, с моей недокуренной сигаретой в детской, тонкой руке.

Ночь Оползня отворила двери, за которыми время стало убыстрять бег, уплотняться, становиться все страшнее, жесточе, все стальнее, все безжалостнее. Жалость исчезала на глазах. Мир превращался в жесткий кус металла, и одним из слов, что обозначали ужас мира, стало странное слово «жесь». «Жесь!» — кричали мальчишки, увидев на задворках дохлого ободранного кота. «Жесь!» — вздыхали люди на остановке, дрожа и рассматривая валявшихся на асфальте мертвецов: пьяный водитель протаранил толпу, ждущую троллейбуса, и живые дрожали, сбиваясь в плотную жесткую массу, и лица сливались в один комок серого теста, и заливались одними слезами.

Жесь — так открывали консервную банку пьяницы в подъезде, зубами сдирая с бутылки затычку, жесь — подносили стеклянное горло ко рту, жесь — хлебали и стояли, как вкопанные, в вонючей тьме, без закуски, выжидая, когда адский огонь разольется по глотке и животу, по сердцу, меж ребрами.

Жесь, шептал я сам себе, наблюдая в холодном подвале фигурки на экране маленького телевизора, фигурки метались, падали на колени, воздевали руки к небу, то возле разбитого самолета, то возле взорванного поезда, то среди взорванного рынка, то вдоль взорванного театра, и я опять и опять слышал эти слова: «Трагический теракт! самый большой теракт за пять лет! самый крупный теракт в этом году! невероятная трагедия в Мадриде! страшная трагедия в Тегеране! жуткая трагедия в Багдаде! в Дамаске! в Марселе! в Стамбуле!» — и люди по всей земле эти слова слышали. Я открывал видео, и фигурки прыгали опять и опять — возле обломков самолета, возле обвалившейся церковной стены. И лежали на асфальте в крови, в ряд, дети и мужчины, беременные женщины и глубокие старцы, и я опять и опять складывал руки на груди и молился. Но раздавался стук в дверь, и моя молитва прерывалась: это приходил мусульманин Баттал, он приносил мне немного еды, он садился напротив меня и спрашивал меня о смысле жизни, о смерти, о моем чувстве Бога.

Что я мог ему сказать? Я ел то, что он принес, кипятил чайник, споласкивал кипятком грязные чашки, говорил тихо: «Баттал, разве о Боге говорят? О Боге надо молчать. Тогда Он придет к тебе сам».

Я видел, его не устраивали такие мои слова.

А тут рядом со мной разразилась такая гроза, что спастись трудно было от холодных струй этого черного ливня.

Наш дом, чудом уцелевший при оползне, так и застрявший на краю оврага, ветхий, кривобокий, дерево прогнило, сруб истлел, жучок и время его поели, свет то и дело отключали, замыкало старую проводку, — кишмя кишел людьми. У меня между стеклами возился и дышал маленький муравейник, а наш дом являл собою муравейник большой, и самый малый муравей, я, сидючи в подвале, никогда не заползал на самый верх муравейника, на чердак и на крышу. В каждой норке каждый человеческий муравьишка трудился, как мог, таскал что-то важное в норку и вытаскивал из норки наружу то, что уже не было нужно, дрался и блажил, плакал и включал музыку на полную катушку, сдавал комнаты бандитам и возводил перегородки, чтобы за ними, как за китайскими ширмами, спрятать выросших детей и новорожденных младенцев. Ночью младенцы надо мною орали, как резанные поросята, я просыпался, вздыхал и молился опять.

Вскоре за Ночью Оползня последовала Ночь Убийства.
В нашем доме сын убил своего отца.

Так просто убил; убить, знаете, это всегда просто.

Ничего нет сложного в том, чтобы крепко ударить, и человек упадет и умрет. От гематомы, от того, что лопнет крупный сосуд, от сотрясения мозга, от сломанного ребра, острый край которого воткнется в сердце, в печень. Травмы, несомнимые с жизнью! — так напишут потом в свидетельстве о смерти. Но то, что сын может поднять руку на отца, это поначалу не укладывается в голове; вот и у меня не уложилось.

На лестнице, что вела ко мне в подвал, раздался гром. Это, так яростно топая, вниз бежал человек. Я проснулся и подумал, лестницу ломают. Бьют молотом по ступеням. В тельняшке и в кальсонах я, мотая головой спросонья, подкатился к двери, заправил седые свои космы за уши, не спрашивая, кто там, открыл. Кто же еще может ломиться ко мне в подвал ночью, как не свои?

На пороге моталась и вспыхивала в сыром мраке маска ужаса. Это было лицо человека, понятно, но это лицо было так искалечено, так перекошено нечеловеческим ужасом, что даже я, выдавший в жизни всякие виды, попятился. «Андрюха! — зычно завопил человек-ужас, — Андрюха, мать твою так-через-так, помоги, растак твою, у нас тут черт знает что, растудить твою через коромысло, ты даже не представляешь что, в бога-душу-мать-за-ногу!» Я всмотрелся в светящийся, мотающийся передо мной во тьме живой ужас — и едва узнал соседа Кешу Скобеева. Кеша был выпить не дурак, с покойным хозяином подвала они квасили не раз, он сам мне об этом рассказывал, и опять же за шкаликом: он со шкаликом обнимался, я с чашкой кофе и сигаретой, разделение труда. «Кеша, Кеша, стой, стой! — закричал ему я, я с трудом продираю глаза, спутанные лохмы лезли мне на лоб. — Что стряслось? Говори ясно!» И Кеша, ясно глядя мне в лицо умалишенными глазами, в них плавал ужас, ясно, внятно сказал: «Дон Кихот отца укукошил. Насмерть. Кухонным ножом».

Жил у нас такой в доме, худой и длинный, то ли парень, то ли дядька, вроде молодой, а морщины по всему лицу, его Дон Кихотом прозвали; и был у него отец, такой старый, что у него белой шерстью все темное, как кора, лицо заросло, как ягелем. Что беспомощный старикан Дон Кихоту сделал? Из-за чего повздорили? А может, и вовсе не ссорились, а что-то тут другое просвечивало, тайное и тяжелое, тяжелее гири? Некогда было раздумывать. Я набросил куртку поверх тельника, всунул ноги в холодные башмаки, и мы с Кешей побежали наверх. Соседки голосили. Кто-то возвысил голос: «Да не вызывай ментов! Ментов уж давно вызвали, и не один раз! А они все едут!» Мы вошли в квартиру Дон Кихота. Голые стены. Включенный компьютер посреди голого стола. Ободранные котами обои. На полу разлитое вино. Винные лужи подсохли, и к ним прилипают подошвы. Дверь в кухню открыта. Конфорки полыхают, горит синий газ. И пахнет газом. Я подошел, газ выключил. Форточку распахнул. Зима ворвалась, я поежился. Дон Кихот лежал на полу со связанными руками. Руки он сжал в кулаки и закрывал ими низ живота. Он тихо бормотал сквозь зубы: матерился. От него не пахло, он был трезвый. Белая злость была из его глаз. От них хотелось заслониться ладонью, как от вспышки магния. Сейчас так, со вспышкой магния, уже не фотографируют, а меня, ребенка, еще так снимали на карточку, и отца моего покойного, и мать мою, и сестер, мы еще этот чертов магний застали. Я сел на корточки возле головы Дон Кихота и тихо спросил его: «Ты, рыцарь, тебя какая муха укусила? Зачем на отца руку поднял? Где он?» Дон Кихот глядел на меня связанным волком. Его дикие глаза то белели, то желтели. Я оглядывался. Нигде не видел тела старика. Вошел Кеша, и я разогнул колени, встал. «Вон! — выкинул Кеша руку вперед. — Глянь! Деловой такой! Штук двадцать колотых ран! Не меньше!»

И тут я оглянулся и увидел мертвого человека.

Это всегда тяжело, встреча с мертвецом. Что есть живое? Когда мы живы, смерти нет, а когда будет она, не будет нас. Мы никогда не сможем встретиться, мы и смерть. Поэтому мы, должно быть, так никогда ее и не ощутим. Уходя и мучась, мы будем мучиться, да, но это все равно будет еще жизнь. Сам миг ухода не поймать за хвост. Не обтянуть тугой резинкой. Не пригвоздить, не вскричать: все! настиг! она моя! Не твоя и ничья, никогда.

Но вот очередной мертвец лежит перед тобой, и ты растерялся. Ты не знаешь, бояться тебе или сохранять спокойствие, притворяться, что все по-прежнему, или ужасаться тому, что и ты, не пройдет и десятка-другого лет, вот точно такой же станешь. И так же будешь лежать на диване, а может, на кровати, а может, на столе, на простынях или на полотенцах, в гробу на голубом атласе или на грязном полу, и неважно, будет ли засыхать кровь на твоих страшных ранах, или шею обвивать красный след от удавки, или чист ты будешь, как стеклышко, а просто разобьет тебя паралич или остановится безумное, доброе твое сердце, просто устанет биться и встанет, это все уже детали. Ты все равно станешь мертвой, косной материей. Ты станешь кирпичом земли. Колбасой Бога. Пищей для голодных червей. Тебя заколотят в гроб и опустят внутрь земли, и ты, пройдет немного времени, сам станешь землей, — гордись! Земля — твоя мать, а ты думал, женщина с тонким голосом и большой грудью, что хватала тебя, поднимала, вынимала из-под рубахи сосок и тебе в рот толкала, кормя тебя? Нет. Все не так. Ты умер. Ты родился. Ты снова войдешь в лоно. И ты собой накормишь другие живые существа. Значит, ты и есть главный хлеб земли. А может, ее соль.

Да что там, хлеб и соль вместе.

Я подошел к убитому старику. Я сам себе казался невесомым и невидимым. Это я стал ангелом, только бескрылым, а он, весь изрезанный тесаком, лежал передо мной на диване такой тихий, мирный, светлый. Перекошенный в крике рот уже успел сложиться в тихую улыбку. Лицевые мышцы разгладились. По лбу бежали волны спокойных морщин. Одежда, вся изодранная ножом, свисала лохмотьями, и казалось, старик лежит в маскарадном костюме с красными бантами, махрами и воланами. По лицу наискось шли пять красных полос: это сын, убивая отца, мазнул по его лицу рукой в крови. Я отвернулся. Горло мне захлестнуло соленой петлей. Дети! Мои дети! Неужели они тоже когда-нибудь убьют меня? Неужели я когда-нибудь им до смерти надоем, и мы крепко повздорим, и они возьмут в руки острые тесаки, и поднимут их, и пойдут на меня? Спина аж вздыбилась, как шкура зверя, от такой иглистой, как железный иней, дикой мысли. Я помотал головой, отгоняя морок. Потом опять повернулся к убитому, поднял над ним руку и нежно, медленно перекрестил его. Читать кафизмы из Псалтыри я не умел. Это дело старух. Я молился по-своему, не все православные поняли бы меня; вот Серафимушка бы понял, я знаю. «Старик, милый, — чуть слышно шепнул я, а рука все чертила в воздухе крест, — прости сыну своему, как Бог вам обоим прощает. Пожалей его. Ты еще к нему будешь приходить, и он от этих твоих посещений одуреет, взмолится: уйди, избавь! И как бы он от того, что он убил тебя, сам, по своей воле, не ушел бы вслед за тобой. Душа твоя сейчас здесь и все видит и слышит. Прости! Прости ему!»

Вдруг я внезапно, сильно и больно понял: самое великое на земле дело — прощение. Надо прощать, если тебя убили. Прощать, если убил ты. Прощать, если развязали войну. Прощать, если ты совершил непоправимое. Прощение — это еще одна, самая последняя возможность все ужасное угладить, все позорное — исправить. Вылечить. Мы никто не доктора! Тогда почему же мы все просим, и просим, и просим друг у друга прощения? И у Бога прощения просим?

«Прости, старик», — сказал я и прошел кровавой, липкой дорогой от дивана к лежащему на земле, связанному Дон Кихоту. Парень сам превратился в уродливого старика. Лоб бугрился морщинами, впалые щеки будто ямы в земле. И сам весь цвета земли. И пахнет землей. А может, кровью. Я опять присел на корточки рядом с ним. «Тебе не стыдно? Отца уж не вернуть. Зачем?» Он повел глазами. Белый огонь в них уже погас. Глядя на него, я подумал об уродце, вытащенном кюреткой из утробы преступной матери, убийцы. Еще не жил на свете, а уже погиб. «Он заел мою жизнь». Я онемел. «Твою? Жизнь?! Заел?!» Дон Кихот разжал кулаки. Я увидел, как медленно наливаются кровью его посинелые пальцы, как кровь пульсирует в их белых прозрачных кончиках. «Да. Сгрыз с потрохами. Кости зубами перемолол. Он ел меня, и ел, и ел, ты даже не представляешь, как жадно, с каким наслаждением он меня ел, он сидел тут в углу, вот тут, скрюченный, дрянной, и ел меня, пилил меня, пилил, оскорблял, душу мне резал, резал, чулком меня наизнанку выворачивал. И я не выдержал. Но знаешь, Андрюшка, прежде чем его убить, я долго думал, хорошо ли это. Позволено ли это!» — «Кем позволено?» — вылепили мои губы сами, дрожа и трясясь. «Ну как же кем! Кем-кем! Сам ты прекрасно знаешь кем!» Я закрыл глаза. Я сначала подумал: он Бога имеет в виду? — а потом догадался: нет, не Бога.

Колени мои болели, долго на корточках я не смог бы высидеть. Я слышал шаги — сюда уже шли люди. Я приблизил лицо к лицу убийцы. «И что? Ты хочешь сказать, что ты разговаривал с ним самим? С дьяволом? С самим сатаной? Да? Да?» Дон Кихот перекатил голову по заляпанной кровью половине и отвернул лицо от

меня. Он не хотел меня слушать и слышать. Не хотел отвечать. И все-таки ответил. Он не мог не ответить. Язык его сам все выболтал за него.

«Да меня он-то, короче, и достал, этот твой дьявол или как его там. С одной стороны это отребье сидит и пилит, пилит, душу уже подъял всю, до крохи. С другой — под локоток подползает этот, ну про него ты мне сейчас треплешься, да, вот именно он, я чувствовал так, что это он, именно он, а кому же еще так меня трясти? Тряс, тряс меня, я весь извелся. Я от себя ножи прятал. Днем прятал, а ночью на кухню пробирался и точил. У меня точилка есть. Я знал, что нож нужен острый. Очень острый. Чтобы мягко, быстро входил, как в масло. Человек — это масло, ты знаешь? Когда его режешь, он просто брус теплого масла, и все. Масло, и больше ничего. Красное масло. Х-ха! Я спать уже не мог. Перестал спать. Все спрашивал этого, ну, как его, ну, темного: ты, темный, а если я убью, меня что, на том свете накажут? А он мне: ты что, серьезно веришь в наказание, в то, что ты поступишь, как плохой мальчик, и тебя выпорют ремнем, да?! Подстерегут, уложат на лавку и выпорют?! Да забудь! Забей! Забей на все! На все сомнения и страхи! Нет уже этого ничего на свете! Не вини себя! Делай что хочешь! Такие времена настали! Я тебе все разрешаю! Вперед и с песней! И вот он мне разрешил. Он! Мне! Сам разрешил! Понимаешь?! Нет, ты понимаешь?! Понимаешь?!»

Далеко послышались голоса. Становились все ближе. Дверь заскрипела, в комнату вошли милиционеры, с ними соседи, все дружно кричали плачущими, истеричными голосами. Дверь ходила ходуном и противно скрипела, люди указывали пальцами на лежащего на полу убийцу, я тяжело поднялся с корточек и еще раз поглядел убийце в глаза. Глаз его я не поймал. На всю жизнь я запомнил его лицо — искривленное, будто громадным сапогом раздавленное лицо зародыша, выковырянного железной ложкой из брюха несчастной матери.

Все меньше людей ходило ко мне заниматься медитацией и особыми светлыми молитвами. Все меньше мне приносили еды. Я собирал бутылки в оврагах в пустой рюкзак, я хорошо знал это бродяжье ремесло, но иной раз очень сильно хотелось есть, а еды не было, и денег не было; был только молотый кофе в старой жестяной банке и вечная пачка сигарет на подоконнике. И муравьи за окном.

Я подтягивал ремень и просверливал в нем шилом новые дырки.

И тут подвернулся под руку знакомый художничек, Родя Волокушин. Родя зашел ко мне на огонек, а я как раз сидел с огоньком — без электричества, как всегда, со свечой на столе в грязном чайном блюде. С теплой свечи стекал на блюде горячий воск и превращался в скалы и фьорды, и я следил за этим дивным превращением. Дверь была открыта. Вечер стоял поздний. Я никого не ждал. Волокушин вошел, как призрак. Я хотел вздрогнуть, а вместо этого тихо рассмеялся, не оборачиваясь. Я увидел его затылком. Волокушин положил руки мне на плечи и крепко сжал их: так он здоровался. «Здравствуй, Андрей!» — «Здравствуй, Родя!» — «Как живешь-можешь?» — «Живу и могу!» Я заварил кофе. «Извини, друг, к кофию ничего у меня: ни сахара, ни сушки». Волокушин уселся в дряхлое кресло, пил горячий кофе громко, фыркая и сопя. «Фу, весь язык обжег! Крепкий! По-турецки, что ли? С перцем, с солью? Слушай, а ты не хочешь жить как человек? Ну, это, деньги получать? Место охранника свободно. У Борьки Хвостенко! У него фирма на проспекте Гагарина. Ее надо охранять! Я два дня, ты два дня! Соглашайся! Нам, это, Борька даже пистолеты даст!» — «Не нужны мне пистолеты, — сказал я, улыбаясь и покуривая, — я любого бандита голыми руками задушу. Нет! Я его — молитвой поражу!» Молитвой так молитвой, соглашался Волокушин и шумно хлебал кофе. Выхлебав всю чашку, взмахнул рукой: «По рукам?» Я ударил его ладонью о ладонь, и мы смеялись и курили.

Так я стал работать охранником. Наш хозяин, Борис Хвостенко, с белой бородкой, с ярким сладким ртом бантиком, с носом чуть с горбинкой, занимался неизвестно чем. Да мы с Родей особо и не интересовались. Кое-какие его занятия мы, правда, созерцали. Каждый день в офис приходили пять вышивальщиц и вышивали золотыми нитками на натянутых на пяльца полотнищах красивые женские лица в кокошниках. Кокошники были сплошь усеяны яхонтами, рубинами, изумрудами, бирюзой, жемчугом, и я толкал Волокушина локтем в бок и тихо спрашивал: «Как думаешь, поддельные?» — а он важно отвечал мне, так же тихо: «Настоящие! Уральские каменья!»

Стареющий красавец, старый бизнесмен Борька Хвостенко, старый мальчик с белой бородою Деда Мороза, хотел в жизни успеть еще заняться искусством — и выставить его напоказ, свое искусство, и заработать на нем. Как выяснилось, Хвостенко задумал изобразить воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам. Нанятые за копейку златошвейки вышивали лики боярынь и боярышень, что пришли на площадь близ синей Волги к Спасо-Преображенскому собору, откуда Минин орал народу свои военные слова; от собора остались одни руины, власти все грозились его восстановить. По мысли Бориса, боярышни в кокошниках, изукрашенных самоцветами, должны были стоять справа от Минина, воины в красных кафтанах, с саблями на боку и со вздетыми копьями, слева, а в центре бешеный купец Минин Сухорук будет вздевать десницу, разевая рот, взывая к народу: отдай, народ, последнее, и врага победим! Как это по-древнему, купно заедино! Хвостенко, вздыхая, глядел, как златошвейки нижут бисер на нить, и жалобно шептал: «Продать бы это дело в столицу... в Государственную Думу... в музей Церетели... в Кремль... президенту...» Однажды я пришел на дежурство, а из бутафорской ватной фигуры Кузьмы Минина вылетела моль. Я бегал за ней и ловил ее, хлопал в ладоши. Моль улетела. Ладони мои еще долго горели от зряшных хлопков.

Хвостенко задумал повезти своего безумного ватного Минина, с боярышнями и стрельцами, в Питер, на громкую выставку, в престижный зал аж на самом Невском проспекте. Фигуры и вышивки с предосторожностями погрузили в поезд, вместе с живым Борькой и тряпичным Мининым в вагоне ехали казаки, много казаков, целый отряд. Меня Хвостенко тоже взял в дорогу на всякий случай — я ведь художник, мог ему там, в зале, подсказать, как объект поставить, как правильно его софитом осветить. Мы медленно везли Минина с воинами и боярышнями по Питеру в кузове грузовика, а по бокам грузовика вышагивали казаки, как гуси, и у них на груди тихо побрякивали ордена и медали. И я все думал: где, на какой войне они воевали, что заслужили так много наград?

Красивые ухоженные тетеньки встретили нас, любезно показали, куда нам идти с нашим хозяйством. Мы затащили фигуры в светлый зал, водрузили Минина со товарищи на большой картонный куб, самоцветы сияли, вышитые боярышни тихо млели. На завтра было назначено торжественное открытие. Теперь это называлось презентация. Борька ткнул меня пальцем в бок и сказал: «Андрюшка, ты небось на презентациях никогда и не был. Ну признайся, ведь не был? А тут так будет шикарно! Такой харч! Спонсор сама мадам Марченко. Тарталетки с черной икрой, испанский тунец, рулетики из кур, шашлык из осетрины! Ты, нищий художник, ты когда-нибудь едал шашлык из осетрины?! М-м-м-м! Это, брат, такое блюдо, закачаешься! А вина, вина какие будут! Франция, Аргентина, Чили! Лучший арманьяк, выдержанка пятнадцать лет!» Я слушал все эти слова, текущую из его пушистой белой бороды вереницу сладких слов, и в моих ушах вместо них вдруг начинала звучать странная музыка: то песнопения, как в монастырском соборе, то стоны и крики, будто рядом кого-то убивали, а этот кто-то отчаянно кричал: «На помощь! Помогите!» Крики

стихали, и начинали петь птицы. Как в весеннем лесу. Я смотрел мимо Хвостенко, вбок, на гладкий навощенный паркет. Потом меня кто-то крепко ухватил за локоть, еще одна живая рука просунулась мне под мышку. Меня потащили, и башмаки мои процарапывали грязными пятками драгоценный паркет. «Эй, мужик, ты что это, нелзя тут в обморок падать! Ты разве красная девица? Эй, быстро, у кого есть валидол!»

Мне засунули под язык сладкую мятную таблетку, и я, как дитя конфетку, сосал ее весь вечер. Она оказалась вечной.

Вокруг Минина, по стенам, развесили картины современных художников, странная такая живопись, на мой взгляд, не очень-то пристойная: вот мужчина с женщиной прилюдно совокупляется, а называется это дело «Адам и Ева в Раю», вот детородный орган изображен величиной с целый стол, и название такое: «Отсюда вышел род героев», или вот еще, такая там картинка висела: голый толстый зад, и из него торчит труба, и название совсем уж не в шубу рукав: «Трубящий ангел». Я ходил, глядел и со смеху помирал. Между картинами, для чего, не знаю, повесили иконы. Какого хрена, до сих пор не пойму, среди непристойных холстов иконы развесили? Чтобы сгладить впечатление от живописного хулиганства? Думаю так: ни зал, ни музей не место для иконы. Место святой иконы в церкви. Там ей можно молиться. Еще икона может висеть у тебя дома. Там только ты молишься ей, и это как любовь. Этого никто не должен видеть. Но я изо всех сил оправдывал дур этих, выставочных тетенок, они небось так себе мыслили: все, что живо, то и свято, нет ни верха, ни низа, все едино. Короче, что природно, то не постыдно.

Нет, икона рядом с голым задом — это надо суметь. Я бы так не смог.

Мне Борька сказал, поднимая палец с богатым перстнем: Мицкевич, ты не морщись, ты не смотри, что тут везде сморчки и ягодицы, все это знаменитые мастера, ужас какие известные, эти картинки и на Сотбисе выставлялись, и в музее Гугенхайма, и в галерее Тейт в Лондоне, и черт-те где еще. А я себе тихонько думаю: это ж надо, такая чепуха в таких славных местах на стенах висит и людям глаза мозолит, это же чистой воды порнушка, смех один. А может, для смеху это все и нарисовано? Ну ходят же люди в цирк, там клоун запросто может штаны спустить и белые булки залу показать!

А Борька мне шипит змеей: ты гляди, изучай, смекай, учись современным живописным приемам, ты, горе-художник!

А может, это они горе-художники, а не я, хотел я хозяину возразить — и смолчал.

О чем думали дуры тетки, устроительши этого вернисажа, в кучу сваливая наглый авангард и умильную святость? Было ли это провокацией? Или глупостью? Не знаю. Знаю одно: рот свободному художнику не закроешь, но и истово верующему рот не закроешь тоже. Если кто обидит Бога твоего — берегись! А что, запретных тем для искусства теперь уже нет? Рисуй все что попало? Если святое выгнали взащей, его место быстро занимает наглая пошлятина.

А может, эти нахальные изображения были страшнее пошлости?

Как называлось это всё, то, чего я раньше никогда не видал?

Я не знал этому имени.

Я разгуливал по залу среди богохульных картин, и мне становилось стыдно.

И даже развешенные среди непотребства подлинные иконы не спасали. Не охлаждали мой горячий стыд. Я подошел к нашему Кузьме Минину, к вышитым боярышням и тихо сказал им: терпите, боярышни, Христос терпел и нам велел.

Я чуял запах опасности в пыльном воздухе.

Казачки тоже почуяли этот запах. Они ходили по залам, вертели головами, разглядывая дерзкие шедевры, а потом вертели пальцами у висков. Мрачнели. Терли лбы ладонями. Один старый казак подошел ко мне и тихо, но внятно сказал мне

на ухо: «Глянь, какое дерьмо повесили. Любуйтесь, люди!» Я пожал плечами. «Это все, брат, шедевры». — «Не шедевры, а дешевы», — криво усмехнулся бородатый казак. Он был весь изрезан морщинами, и лицо и руки, и он знал жизнь и различал, где у нее уродство, а где красота.

Ночевать нам было негде, такой ораве, Борька пожадничал оплачивать нам всем, такой толпе, гостиницу, пошептался с начальницей зала, и нам всем разрешили ночевать здесь, на выставке, в двух просторных кладовках. В одной стояли у стен холсты; там расположились на ночлег казаки. В другой лежали, сваленные в кучу, подиумы, мольберты, планшеты, рулоны ватмана, старые самовары, старые чайники и еще много старого барахла. «Раскладушки у нас нет! А вы, господин художник, может, подиумы сдвинете? И будет у вас как диван!» Не беспокойтесь, граждане-товарищи, улыбнулся я милым женщинам, крепче всего я сплю на гладком красивом паркете. Когда я сплю на паркете, у меня ощущение, что я плыву в лодке. И надо мной гребец взмахивает веслами и поет нежную песню.

Хвостенко уехал спать в гостиницу. Опустилась ночь.

И на исходе ночи, когда уже в огромных голых, без гардин, окнах стал лить белое молоко печальный питерский рассвет, я проснулся от странного стука и скрежета. Будто кто-то выставлял оконное стекло в соседней комнате. Я прислушался. Услышал шаги. Паркет скрипел. Кто-то шел за стеной, шел по коридору. Вот проскрипела дверь в зал. За шагами прозвучали еще шаги. И еще. И еще.

Я успокаивал себя: да брось трястись, это смотрители ходят, это ходят сторожа! Не обманывай себя, никакие это не сторожа, это воры. Сейчас стирают самую дорогую икону, раз — и в сумку, и в разбитое окно. И поминай как звали. Из зала доносилось мышинное шуршание. Люди, а это точно были люди, молчали. Не говорили ничего. И в молчании они что-то там такое делали в зале. Что?

Я спал одетый. Мне ничего не стоило встать и бесшумно, бесшумнее мыши, прокрасться ко входу в зал.

Я заглянул в чуть приоткрытую дверь.

Лучше бы я туда не заглядывал!

Люди, а их много рассеялось по залу, они разбежались по всем углам, как черные тараканы, в черных масках и черных перчатках, делали черное дело. Черной краской из аэрографов они поливали картины. Резали ножами холсты. Я рассмотрел: стоящий ближе всех к двери черный таракан вычерчивал аэрографом на полотне, изображающем громадный детородный член, черный топор. Топор был занесен прямо над волосатой мошонкой.

Я прищурился. Глаза мои уже плохо видели, но не настолько, чтобы не увидеть то, что творилось. Все иконы были аккуратно сняты со стен и сложены в темную поленицу. Все неприличные картины густо замазаны черными разводами. Как говорила моя соседка, старуха Жулька, старая пьяница: «Сиськи-письки, волчий хвост!» Наискосок, через весь холст, бежали матерные надписи. Над намалеванным жирным задом, из которого высывалась Судная труба, чернел грозный лик Спаса и чернела надпись: «ИЗЫДИ, САТАНА». А у всех шестикрылых серафимов, летавших вокруг Адама и Евы, лежащих на райской травке в жарком объятии, были нарицательные чертовы рога.

И это была третья моя Судная ночь — Ночь Глумления.

Размышлять было некогда. Я сложил пальцы в кольцо, всунул в рот и оглушительно засвистел. Я же все-таки был драчун и хулиган, отъявленный и наглый. Ночной бандит из заводского дымного района. И я, если дрался, я мог свалить против-

ника одним ударом, я вам уже это говорил. Поэтому я громко свистнул, распахнул дверь — и ринулся в самую гущу черных людей. При этом на бегу я успел обернуться и зычно проорать на весь мертвый, спящий коридор: «Казачи! Ребята! Эй! Атае! Вставай быстро! Быстро в зал!»

Казачи, ну они же тоже солдаты, как-никак. Повторять воззвание не пришлось. За моей спиной затопали ноги в сапогах. Казачи ворвались в зал. Черные тараканы металась от стены к стене. Казачи ринулись на них. Раздались страшные вопли: тараканы брызгали им в лицо краской из аэрографов, кое-кого уже успели ножом пырнуть. На паркет лилась кровь. Я поскользнулся в луже крови, упал, и мне на спину наступила тяжелая нога в кованом берце. Черный поганец, он же сейчас полоснет мне ножом по шее! Я напряг все мышцы, извернулся и сбросил человека со своей спины, как грузчик сбрасывает куль. Ногой выбил у него из кулака нож. Быстро схватил его за руку и вывернул ее ему за спину. Он заверещал. Я повернул его к себе и жестоко ткнул его коленом в пах. Куда исчезло все мое умоленное христианство! Куда делся мой мирный Кришна, мой светлый Будда! Я хотел сражаться, и я сражался.

А с кем я сражался? Может, с братьями?

А что я защищал? Искусство? Это — искусство? Эти картины, где библейские герои принародно совокупляются, и еще миг — будут прилюдно мочиться и испражняться?

А может, я защищал нетленные иконы? В огне не горят, в воде не тонут?

А может, нашего бедного Кузьму Минина, что на этой выставке, вместе с боярышнями и стрельцами, возвышался на подиуме не пришей кобыле хвост?

Изображение имеет силу. То, что ты изобразишь, может быть от дьявола, а может быть от Бога. Это Истина.

И я, среди общей драки, остановился. Замер.

На гладком, как в царском дворце, цветном паркете копошились, пыхтели, ползали черные тараканы. И вдруг я увидел их не тараканами, а солдатами в черной броне. Сам себе шепнул: за что бьетесь? И еще бормотал потрясенно: эй, казачи, ведь мы своих бьем! Своих! А если не своих? Если черное воинство тоже подослано нарочно? О чем они думали, эти люди, когда выставили дворянское окно и лезли в него, лезли сюда, в зал, битком набитый иконами и картинами, или ни о чем не думали, а просто исполняли приказ? Или вовсе не приказ, а они это сами задумали, это нападение, и они совершенно не ожидали, что тут, в питерском старинном дворце, ночует народец, да еще какой храбрый, мои казачи ломали и гнули этих ребят просто одной левой, сильные были мужики, мускулы под гимнастерками играли, ноги в тяжелых сапогах вздергивались и били точно, жестко — под колено, в локоть, в голень, черные стонали и даже визжали, все разом матерились, в воздухе стон стоял от мата, наши казачи дрались отменно, никого насмерть не прибили, ножи валялись на паркете, казачи наклонялись и живо, ловко их поднимали и заталкивали за голенища сапог, а я махал кулаками и все удивлялся: неужели здесь нет никаких охранников, нет сигнализации, неужели милые женщины, здешние работницы, просто закрывают входную дверь на ключ, кладут ключ в карман и спокойно едут домой, пить чай с малиной, от простуды?

Эй, ребята, своих бьем, хотел крикнуть я, но глотку мне словно забили ватой. Кто — свои? Каких — своих? Кто мы, кто они? Я ничего не понимал. Я запутался. Может, это просто питерские бандиты, и в дикой свалке они хотят умыкнуть с выставки дорогие иконы?

Я в полутьме не заметил, как ко мне подобрался парень с ножом. Я просто не увидел его.

Движение было неуловимым. Так всегда бывает, когда убивают, я теперь знаю это. Боли я не почувствовал. Мне было не до боли. Но я почувствовал слабость, тяжелую, как сундук со старым добром. Слабость потянула меня вниз, за собой. Пол поплыл вбок. Это уже был не пол. Он встал передо мною вертикально, стеной. Я падал или поднимался? Я не знал. Я ослабел разом, вмиг, и так, что весь превратился в слабость, в тихий вздох. Тела больше не было. Из меня лилась кровь, но я не ощущал этого. Я лежал на полу, а мне казалось, я летел.

И тут я увидел перед глазами лезвие.

Отчего человек борется со смертью?

Как он ее видит? Как узнает в лицо?

С человеком можно сделать все что угодно. Можно изувечить его как хочешь. Скрутить в бараний рог, повывергать руки, ноги. Изломать, оторвать и выбросить пальцы. Выколоть глаза. И все это будет еще не смерть. Человек будет испытывать сильную боль. Он будет орать, плакать, реветь, как бык, но он будет тайно и верно знать: нет, он не умрет. Еще не умрет. Он выживет.

Но есть момент, когда смерть смотрит тебе в лицо. Глаза в глаза.

И это точно так же, как смотрит тебе глаза в глаза Богородица.

Я видел нож, занесенный над собой.

Счет шел на секунды. А может, на века? Время, его на самом деле не было и не будет никогда, растянулось, задрожало тонкой золотой нитью. Златошвейка всовывала нить в ушко иглы, а игла выскальзывала у нее из слабых костлявых рук. Туманная златошвейка стояла прямо за спиной человека с ножом, и я не мог, лежа на паркетном ледяном полу, рассмотреть ее лица.

Оно текло, стекало золотом и сиянием, плыло во тьме, и вспыхивало, и гасло.

И лица того, кто занес надо мной нож, я тоже не видел. Вместо лица передо мной мотался черный шерстяной носок, напаянный на голову. А может, черная вязаная шапка с прорезанными, как в маске, дырами. А может, это был черный, обгоревший на пожаре, закопченный чайник. Никто не знал.

В это время миг становится тысячью лет, я теперь знаю это.

Я выбросил вперед руку, и в тот самый миг, когда парень выкинул вперед, к моей глотке, кулак с ножом, я схватил его за железное запястье.

Схватил железной рукой.

Мы оба в тот миг были сработаны из железа.

Выкованы насмешливой смертью. Она еще тот кузнец.

Я задираю его руку с ножом все выше и понял, что вот сейчас надо быстро встать, вывернуть ему запястье и правильным ударом колена уложить его, но встать я не мог. Я все еще видел златошвейку в тумане за его спиной, облачное золотое шитье окутывало ее шею и плечи, стекало ей на руки. Я понял, что я ранен и истекаю кровью. Плохо твое дело, Андрюха, сказал я себе, Андрюха-два-уха, плохо, эх ты, а еще хвалился, что одним ударом, одним ударом... Кранты тебе, не удержишь ты долго его ручонку с ножичком, все, до свидания, тесная земля, здравствуй, широкое небо! И тут послышался грохот, голоса людей не хуже ножей резали ночь, в зал с грохотом и свистками ворвалась милиция, да, тогда еще милиция была, не полиция, полицию объявили в государстве то ли через год, то ли через два. Нам потом все рассказали, как было: налетчики отключили сигнализацию, стукнули по голове охранника, огнестрельного оружия у них не было, только холодное, впрыгнули через окно, ну первый же этаж, и через окно хотели выйти. Не получилось у них.

Не все и не всегда в жизни идет по плану.

Менты стали стрелять в воздух С потолка осыпалась штукатурка. Мой убийца выронил нож. Его тут же подобрал ловкий милиционер. Менты быстро и жестоко орудовали дубинками. Живенько нацепляли на погромщиков наручники. Не прошло и десяти минут, как все было кончено. Черные люди валялись на полу, кое-как, животами вверх, животами вниз, с руками за спиной, сцепленными стальными кольцами наручников. Раненые казаки охали, сидели меж поверженных, перевязывали раны рваными рубахами. В зале стоял звонкий музейный холод, и среди строгого холода пахло жаром пота и жаркой кровью.

Мой убийца лежал рядом со мной. Ничком, и голова у моего колена. Я скосил глаза и двинул его коленом в рожу. Кажется, я разбил ему нос. На улице завывала сирена «скорой помощи». В зал вбегали санитары с носилками. Меня уложили на носилки, помню, они прогнулись подо мной, как гамак в саду, и я испугался: вдруг я сейчас разорву их своим тяжелым телом. Мышцы, кожа да кости! Но я ведь рослый, высоченный я и, как ни отошай, все равно на весах хорошо потяну.

И вот несут меня среди этого побоища, среди разгрома, раскардаша этого позорного, несут среди размалеванных аэрографом, убитых знаменитых картин, и стыдно мне, что не смогли мы, не успели ничего, ни наказать, ни уберечь, а над собой слышу беспокойный такой голос, мужчина кричит: «Он крови много потерял, готовьте кровь, гемотрансфузию прямо в машине будем делать, иначе мы его до клиники не доведем, потеряем!» Златошвейка наклонилась надо мной ниже, ее призрачная улыбка обволокла меня облаком, ветром. Мне стало удивительно хорошо. Будто я на пляже лежу, и никакого холода, одно тепло. И радость. Радость моя! Интересно, чью кровь мне вольют? Может, гения какого, и стану я не подвальным бесталанным мышонком, а царем живописи, великим художником, и картины мои будут задорого покупать богачи, вожди и знаменитости по всему миру? А может, алкоголика какого подзаборного кровушку в меня перельют, и унаследую я его беззубый сумасшедший смешок, и бриться неделями не буду, как он, и водку бидонами буду глушить, как он, и валиться под стол, и храпеть, и мочиться во сне, и дурью маяться, и чертей от себя отгонять, и букашек в белой горячке на себе собирать? Кровь — она же живая, и у нее есть память. Если у камня есть память, то какая же она у крови? Наша кровь помнит вечность, и мы вечны только потому, что в нас течет кровь! Текло бы машинное масло — хрен бы мы вечность увидели!

Да и она, глядя на нас, бездушных, зажмурила бы глаза. И отвернулась.

Дальше что было, я не помню. Нет, помню кое-что. Длинную резиновую трубку. Иглу у себя в локтевом сгибе, и ампулу, полную темной страшной крови. Я на эту кровь поглядел, и меня чуть не вывернуло наизнанку. Ведь она была чужая. И может, человек, отдавший ее людям, был уж мертв. А кровь все жила в чужой стеклянной банке. В прозрачном пакете с крючком, чтобы удобно было на другой крючок вешать. Я глянул на ампулу и тут уже отрубился окончательно.

А потом мир снова пришел ко мне. Бог из-под облаков, верно, посмотрел на меня и решил: пусть еще небо покоптит!

А кто тогда вызвал милицию? Кто-то из наших казаков?

Неважно. Все уже неважно. Все уже давно съело время.

Время ведь очень хищное, его зубы перемалывают все что угодно: и кости, и бумагу, и холсты, и доски, и железо, и жесь; и гроб гниет в земле, и атом распадается. Распад — вот мелодия мира. А мы-то думаем, созидание!

Тогда зачем, Боже мой, зачем мы все создаем и создаем, все трудимся и трудимся, все рожаем и рожаем?! Боже мой, Боже, как же нам не надоело! На что же мы, безнадежные, надеемся!

Мой дорогой сын!

За окном гуляет невидимая смерть. Я все сижу в своем подвале, и мне уже кажется, я сижу в подвале под египетской пирамидой. Или в подземелье, в пещерном храме в Аджанте, и над слоем черной земли надо мной — яркие, цветные, солнечные фрески, веселые нежные росписи, смуглые апсары, синекожий Кришна играет на тонкой флейте, а на его шее висят снежные жемчужные ожерелья, тяжелые связки белых, голубых и розовых гладких бусин. Земля была полна драгоценностей! А мы их все убили. Человек тоже драгоценность, а все в один голос гнусаво, уныло пели: человек страшен, человек гадок, человек темен. Сыночек, я однажды говорил с человеком, что убил своего отца. У него тоже оказалась душа! И эта душа страдала! И я ничем не мог его утешить.

Я сижу в безглазой и безъязыкой каморке под громадным пещерным храмом, и там, наверху, надо мной, огни и голоса, там те, кто остался после бойни в живых. Люди, такие хорошие и драгоценные, все-таки ненавидели друг друга, терпеть не могли. Они и рады бы не враждовать, да вот вражда просто лезла из них, как лезет мясо из мясорубки, как лезет младенец вон из матери, и обратно его не затолкать никакими усилиями. Окна по-прежнему затянуты брезентом, и за окнами гибель. Если я выйду наружу, я схвачу еще одну дозу смерти. А я хочу жить. Выжить. Выжить для тебя.

Потому что я знаю, мальчик мой: ты стал плохим и попал в тюрьму не потому, что ты плохим родился. Нет. Ты родился божественным. Все люди рождаются на свет божественными. И Гитлер, и Сталин, и Ленин, и Берия, и Пол Пот, и доктор Менгеле, и Трумэн, и Шефер — все они родились на свет божественными. Что же случилось? Что случилось со всеми вами?

Что случилось с тобой?

Может, ты просто опередил нас всех? Ты понял, что не надо бороться за радость, не надо сражаться за святое, не надо защищать Свет — а надо просто ждать Тьмы, она рядом, она каждую минуту готова раскрыть пасть и проглотить тебя, этот железный крокодил всегда наизготове, и пока ты ждешь Тьмы, ты можешь расслабиться и позволить себе все что хочешь. Все что хочешь! Разве это не радость? Разве не для наслаждения мы живем? Вот оно, рядом! Нагадить в чужую миску с кашей — да пожалуйста! Разбить топором священное, на что молились поколения, предки твои — да хоть сейчас! А зверя зарезать? Да на бойнях коров, баранов, свиней стадами током убивают, и потом мы их жрем, и мы улыбаемся, и мы молчим и смеемся, спасибо тебе, вкусный модный ресторан! А человека убить? А где мой черный пистолет? На Большом Каретном? Да нет, вовсе нет, он у меня под кроватью! Под подушкой! И, по секрету, заряжен! Уничтожение — ведь это такое удовольствие! Может быть, слаще всех удовольствий на земле. Слаще объятий!

Поэтому мы мазали святые иконы дерьмом. Поэтому мы изготавливали на специальных заводах ракеты. И закладывали в них смерть, как начинку в пироги: этот с яйцами и капустой, а этот с зеленым луком. Смерть, в отличие от начинки пирогов, не протухала. Не портилась. Она ждала. Она, тихая и безмолвная, была в союзе с нами, временными, и ждала вечно.

Она ждала нас. Когда мы созреем. Станем готовы к ней, к всеобщей.

Война, она привычнее, чем мир. Мы думали: вот настанет двадцать первый век, и мы одумаемся! Как бы не так. Мы приближали ракеты, бомбы, самолеты к чужим границам, и к нашим границам тоже приближали смерть. Кто первый начал? Ну точно как в детской игре. Ты первый! Нет, ты первый! Нет, ты! Первый, второй... Однажды появился третий, и он решил: пора покончить с сомнениями.

А заодно и с земной треклятой жизнью.

Эй, Бог! Где Твой Серафимушка? Где Твоя Пресвятая Матерь? Ты с небес увидал эти вспышки по всей круглой маленькой планетке. Сколько таких земель

вот так же погибло в Твоем безбрежном, многозвездном мире? Ты разве считал! Это мы, мы считаем.

Мы считаем дни, минуты жизни: сколько нам осталось.

Один какой-то могучий ученый, умная голова, не помню, когда он жил, вычислил: если в космосе дышит и копошится множество разумных человечеств, то любое человечество, дойдя до роковой черты, останавливается и убивает себя. И такое человечество, что само, своими руками готовит себе гибель, порог этот роковой не переходит. Но бывает и так, что переходит.

И вот то счастливое, особенное, невероятное человечество, что перешло этот заповедный страшный порог и не погибло, только оно, такое человечество, способно стать равным Богу. Это значит жить вечно. И в огромном мире, в черном космосе однажды встретиться с другой разумной жизнью.

Смеюсь я, сынок. Улыбаюсь. И плачу. Ведь если мы до сих пор не вышли на связь с инопланетянами, значит, все они, разумные, страшные, бедные, дошли до рокового порога! И все умерли!

За брезентом, которым затянуты мои подвальные окна, где-то далеко в небе, над мертвой землей, висит, мерцает красный Марс. Мой друг Родя Волокушин однажды показал мне его в самодельный телескоп. Я ужаснулся: Марс был такой же круглый, как Земля, только совершенно мертвый. Рыжий, красный, голый, весь в оспинах кратеров. Руслу высохших рек бежали по нему, как костяные швы по черепу. Если по нему постучать, то он зазвенит. Такой он выжженный и медный.

Я спросил Родю: Родя, а он мертвый, или кто-нибудь там все-таки живет? На что Родя с видом знатока ответил мне, важно выпятив губу: не исключено, что и живет, правда, доказать это пока невозможно, но многие ученые считают, что да, живет, вот и я так тоже считаю, хоть многие со мной и спорят, но ты почитай, почитай в Сети, то в одном марсианском камне мертвую улитку найдут, то на другом отпечаток червя, то вообще на поверхности Марса из космоса сделали фото железной дороги! Натуральные рельсы, ей-богу, не вру! А потом внезапно замолчал мой Родя. И тихо так, тихо и беспомощно, обреченно сказал: да нету, нету там никакой жизни. Это нам так сильно хочется, чтобы была. А на самом деле ее нет. Да ведь ты с самим Буддой беседовал, рак ты наш отшельник, с самим Кришной; и ведь они в один голос говорили же тебе, что ничего нет? Вообще ничего нет? Ничегошеньки? Ни жизни, понимаешь, ни смерти! Ничего!

Я отшатнулся от телескопа, и мне захотелось поднять кулак, размахнуться и разбить эту толстую железную трубу с толстыми стеклышками, что вместо жизни мне показывала опять смерть.

Милый мой мальчик! Я догадался. Если Бог работал на соединение, на любовь, на сближение, то мы все работали на распад. Распад! Взрослые распались на молекулы боли, дети на атомы зла. Распад — вот что начинало править миром. Люди оглядывались и видели: все разваливается на куски. Вот-вот развалится планета. Взорвется, и клочки разлетятся. Как кончается человек, так кончается когда-нибудь и почва, на которой он живет и в которую ложится.

Распад! Это трудно осознать. Но, живя внутри смерти, я это осознал. И другие, кто еще жив, осознали. Я буду бороться. Я буду сопротивляться распаду! Я буду все опять собирать воедино. Я буду молиться. Ведь это же так просто. Тепло будет остывать, улегчиваться в открытый космос, а я буду сидеть и молиться. Я никуда не уйду без тебя, сынок. Я не уйду отсюда без горстки живых. Пусть приходят ко мне, приползают, и будем молиться вместе. Молиться вместе — это все, что нам осталось.

Не тяните меня за собой! Не тащите! Я никуда не хочу отсюда уходить. Да, я так решил! Да, это мой выбор! И вы не имеете права лишать меня моего последнего пристанища.

Мой последний приют — это не разрубленные топором иконы. Я никогда не буду топить печь холстами Рафаэля и офортами Рембрандта. Я никогда не сколо-

чу себе нужник из фаюмских портретов. Боже мой! Боже! Может, нам нужно было перестать есть мясо?

Доброе утро, сын мой! Если это утро, конечно. Знаешь, Юрочка, я стал совсем другим человеком. Я перестал знать, что такое холод и тепло, я стал путать голод и сытость. Я живу среди мусора, и он для меня светится изнутри жемчугами и рубинами. Только для меня. Я понимаю, сознаю, что этого чуда больше не увидит никто и никогда.

Мы пережили первый страшный взрыв, мы пережили много других взрывов, поменьше, их раскаты доносились сюда, под землю. Нет, у меня, конечно, не бункер; какой это бункер! Брезент заслоняет окна, и я не вижу, как на меня смотрит безглазый череп мира. Это к лучшему. Зато я вижу моих муравьев за стеклом. Они, странно, остались живы. Они ползают и ползают, все трудятся и трудятся, работают неустанно, если долго смотреть на муравейник, он начинает шевелиться сам по себе, а муравьи исчезают. Так и земля; она все равно будет шевелиться и вздрагивать, когда мы совсем исчезнем. И я исчезну первым. Я уже старенький, сынок. У меня уже голова седая. Каждое утро я туго стягиваю резинкой свои длинные космы в тощий конский хвост, и он бессильно свисает у меня по спине, между лопаток. Мне всегда все говорили: ты с этим хвостом похож на гуру. Ты настоящий гуру, и твое место в Индии! У ног Будды, у ног Кришны! У босых ног апостола Фомы, ведь он тоже пешком в Индию ушел.

Вот она, наша Индия, за окном. Серая мешанина из досок, оплавленных камней, колотого асфальта, кирпичной пыли, людских костей, людского гнилого мяса, примет людской жалкой жизни: сгоревших велосипедов, рваных сумок, скелетов машин, скелетов домов. Мир никогда не воскреснет, надо это осознать.

Сыночек мой, я все еще не сошел с ума, хотя к этому близок. Я не вижу ничего, кроме любви. Я не вижу ничего, кроме любви и печали. Я не замечаю смерти. Возможно, ее нет, как я и учил всех раньше. Я, гуру, всегда всех хорошо учил; и все радостно молились вместе со мной и благодарили меня за то, что я есть. Один ты, Юрочка, меня не благодарил. А плевал в меня и проклинал.

Ученый делает открытия в науке. Художник шагает вперед в искусстве. Почему один я не шагаю вперед, не открываю ничего, а сижу в пронизанном радиацией подвале и молюсь? Может, я и правда сошел с ума, один я, а мир живехонек, и не надо забиваться ни в какие подвалы и прятаться ни в какие бункеры, и пить противоядие, и укрываться брезентом от ослепительной вспышки, а надо просто открывать рот и, благоговейно сложив на груди руки, произносить древние забытые слова. Юра, ты молился когда-нибудь? Ты знаешь хоть одну молитву? Я не научил тебя ничему. И этим важным словам не научил. А этими словами можно бинтовать раны. Накладывать их на опухоли и гематомы. Ими можно перевязать подземное человечество, всю его гигантскую рваную рану, во все земное тело, ими можно кадить, брызгать, как в праздник Водосвятия, на трупы, и трупы оживут, и встанут, и срastутся кости, и оденутся плотью. Чуть, скажешь? Но этой чужью люди жили много тысяч лет. Тысяча лет — и один день! На что мы променяли молитву? На то, чтобы стать кротами, червями?

Сынок, я знаю, о чем ты хочешь меня спросить. Ты хочешь спросить меня: отец, а вдруг мы возьмем и приспособимся? Ну, к мертвой земле? К мертвому дождю из мертвых туч? К мертвым деревьям и к мертвому песку? Потихоньку, по чайной ложке будем вдыхать гибель. Сегодня вдох. Завтра вдох. Сегодня доза смерти. Завтра доза. И дозу будем увеличивать. И, глядишь, сможем жить в аду! Ведь об этом ты хотел меня спросить, да? Да?

Да. И я отвечу тебе. Потому что сам себе я тоже задавал этот вопрос.

И сам себе я отвечал на него так: человек не крот и не червь, и он никогда не сможет навек уйти под землю. Да, человек — существо гибкое, и он ко всему приспособится, все перетерпит. И будет трудиться и не изнемогать. Что он будет делать в мертвом мире? На кого работать? На чужого дядю? Но все заводы взор-

ваны, все фабрики сгорели, и чужой дядя превратился в скелет. На самого себя? Но ведь денег уже нет, и еды нет, и жить осталось очень мало, и перед смертью не надышишься, и все бессмысленно. Значит, остается работать только на одного — на Бога.

А как на Него работать? Пахать, сеять? Склеивать разбитое? Лечить, учить?

Всего этого сейчас делать нельзя. Дети погибли. Те, что остались в живых, плачут и кричат от боли. Им осталось немного. Им просто нужно обезболивающее. А лекарств нет. Ни таблеток, ни ампул. Ни шприцев, ни аэрозолей. Ничего.

И кого, и чему может научить несчастный гуру, что горбится над обсосанным куском облученной воблы, найденной в недрах шкафа?

На Бога ты будешь работать только так: Ему молиться.

Молиться Ему! И больше ничего.

Это я тебе говорю, отец твой. Хоть раз в жизни послушай меня.

Тюрьму твою тоже, наверное, взорвали, и, может, вас, заключенных, завалило обломками, и вы лежите под завалами, придавленные каменными плитами, стонете и зовете на помощь. А может, твоя темница уцелела, и ты сидишь и смотришь через решетку на дымное серое небо, на нем никогда больше не выглянет солнце. У тебя с собою нет моей фотографии. Зато у меня твоя фотография есть. Ты меня не любил, быть может, даже ненавидел, а может, презирал; может, я заел твою жизнь, только чем? Зубов у меня нет, я не хищник. Я, наоборот, давал тебе слишком большую свободу. Большая свобода ведет к распаду. Ты на моих глазах распался на куски, на смешки и матюги, на вранье и воровство. Лжец всегда станет пакостником, пакостник — преступником. Все очень рядом.

В большом мире так же. Народы врут друг другу, а потом гадят друг другу в шапку. И, не вынеся вони, кидают друг в друга гранату, бомбу, снаряд. А ты не погиб, мой сын? Кто-то сказал мне, что ты умер. Но я этому не верю! Ты жив. Твой скелет не валяется на пустынной пыльной улице под обгорелым фонарем. Я видел во сне, что ты живой и улыбаешься мне.

У меня есть твоя фотография, я храню ее за пазухой, в тепле, чтобы она чувствовала все время тепло сердца и тела, согревалась, ощущала биение жизни, чтобы твое лицо все время, отпечатком на липкой блестящей бумаге, прижималось к моей поросшей седыми волосами груди. Ты не сгорел. Ты дышишь и плачешь. Сжимаешь кулаки. Кто-то кричит так далеко, что я не разбираю слов, а потом разбираю: «Внимание! Внимание! Тревога! Воздушная тревога! Всем спрятаться в укрытие! Никому не выходить наружу! Внимание! Внимание! Воздушная тревога! Всем спрятаться...»

Милый мой, мальчик мой! Как ты там без меня? Все мы на земле живем друг без друга. Хоть и рядом. Рядом, но не вместе. И это ужасно. Вот это ужаснее какой угодно войны. Распад одолел нас, он оказался сильнее нас. Прежде чем разъять на части нашу живую и теплую землю, мы развалились сами. Знаешь, сынок, как надлежит молиться, чтобы опять все воедино собрать? Не знаешь? Слушай.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Господа. Богородица Дево радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших. Господи Иисусе Христе, сыне и слове Божий, молитв ради Пречистые Твоя Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилуй нас.

Думаешь, вот твой отец рехнулся или нашел близ печки старинную книгу и бормочет по ней, вслух читает корявые письма? Мы мало и плохо молились, поэтому это все получилось с нами. Сынок, не смейся надо мной, ты же ведь не жестокий, как все эти насмешники в модных одежонках, в лаковых штиблетах, с навороченными гаджетами, с ароматными сигаретами в углах пресыщенных ртов. Эти люди, а таких много было в нашем прежнем мире, знать не знали, что та-

кое молитва. Они громко хохотали над теми, кто молится. Они плевали в лица тем, кто на прощание осенял их крестным знаменем. И чем больше становилось на земле поклонников дьявола, тем быстрее приближалась Ночь Огня.

Сынок! Молись!

Если можешь.

Иисус молился. Будда молился. Кришна молился. Я, хоть и спятил с ума, молюсь. Мне Бог пошлет лекарство, чтобы не так сильно болели ожоги. Мне Бог пошлет еду, старые консервы, черствую горбушку, и я размочу ее в остатках воды и буду жевать долго, как жвачку. Что будет, когда я допью последнюю воду? Объявлен комендантский час, и когда он наступает, по всей земле гудит долгий пронзительный гудок. Он прожигает уши и прожигает времена. Если после восьми вечера ты вдруг выйдешь на улицу, тебя застрелят. Огонь на поражение, и все. Но ты не выйдешь. Твои часы встали. И ты не знаешь, сколько времени на земле. Все правильно. Времени ведь нет.

Баттал бывал у меня редко. Ко мне все меньше приходило людей, моих учеников, я переставал быть для них учителем, все, что им надо было услышать, я им уже сказал. Баттал нашел свой смысл жизни. Он нашел его в Аллахе и в джихаде.

Ну что же, таков был его выбор.

Я смотрел на этого смелого и сурового, с накачанными мускулами, с белозубой улыбкой во все лицо, обычного парня, простого русского веселого парня с диким и гордым восточным именем, на то, как он аккуратно, стараясь не обжечься, пьет кофе из моей вечно грязной чашки, и думал: какая судьба его ждет? Я не прозорливый старец, чтобы видеть судьбу. Я обычный человек. Я много лет по земле ходил в стареньком пальто. Людям я о любви говорил, но меня не слышал никто. Но ведь кто-то слышал! И кто-то уже — любил! Не потому, что я его научил.

А потому, что любовь сама к нему пришла.

Важно, чтобы Бог пришел к человеку Сам. Тогда человек увидит и услышит его. И изменится. Как это сказано в Писании, точно не помню: мы все не умрем, но все изменимся. Апостол Павел вроде бы сказал. Или не он?

Баттал позвал меня к себе домой на Курбан-байрам. Я никогда не был у него дома. Но, знаете, я всегда приходил в чужой дом, будто я тут бывал сто раз, будто я тут был уже сто лет как свой. Так я и к Батталу пришел. Позвонил в дверь, дверь открыла женщина, у нее голова и грудь были обвязаны таким, знаете, их восточным платком, забыл, как он называется. Да, хиджаб. Это из древности идет, чтобы женщина стыдливо покрывала тканью свои грешные, соблазнительные волосы. Я, стоя на пороге, сложил руки на груди и поклонился, женщина попятилась и на мой жест намасте ответила странным, растерянным жестом: махнула вбок рукой, будто отгоняла с плеча муху. Гомон и мясные запахи обняли меня, подхватили и понесли. Все веселились громко, даже слишком. Будто бы это было не простое веселье, а веселье на краю пропасти. Кто-то играл на восточной дудке, кто-то сидел за столом в чалме, у меня было чувство, что я попал куда-нибудь в Стамбул или в Тегеран. Баттал обнял меня и усадил за стол. Я старался не глядеть на людей, нагло не рассматривать каждого, здесь их было слишком много. Все теснились, хохотали, наступали под столом друг другу на ноги. Женщина, что открыла мне, это была жена Баттала, вносила в комнату на подносе блюда и расставляла их по столу. Все потирали ладони, подмигивали друг другу. Кто-то пел заунывные восточные песни. Нет, русские люди тут тоже были, да и я сам был тут русский. А впрочем, разве на мне это было написано? Приглашен на мусульманский праздник, значит, мусульманин. Почему все мы не мусульмане? Все, разом, не христиане? Все не буддисты? Как бы

было удобно и просто, если бы на земле у нас был один Бог! А вам и правда кажется, что мы, разные народы, из-за наших богов передрались? А не из-за чего-то другого?

Одни блюда сменяли другие, женщина вносила питье в высоких позолоченных и посеребрённых кувшинах с гнутыми ручками и изящными латунными носиками, кланялась, улыбалась, молчала. Тут же крутились детки; должно быть, это были детки Баттала, не гостей, они то и дело подбегали к Батталу, и хватали его за колени, и куда-то звали его, тянули, растопырив пальчики. Девочка в особенности была хорошенькая. Черненькая, смугленькая, она повизгивала от радости и прыгала на месте. Потом оба ребенка убежали. Я поймал взгляд Баттала. Он смотрел на детей тяжело и печально. Он не сказал мне, как зовут его жену; может, думал, она сама мне представилась. Когда мы ели и пили, женщина села на краю стола. Смутное волнение накатило, захлестнуло темной волной. Это не было воспоминанием. Я не вспомнил ее. А с чего бы это мне вспоминать чужую жену, мусульманку? Может, она узбечка, а может, башкирка. Кто их разберет, восточных, раскосых. Это было, знаете, трудно объяснить, но попробую, такое неясное чувство: на уровне ошупи, на уровне вдоха сырого тумана. Будто я шел, шел и вдохнул сырой осенний туман. Вот-вот пойдет снег. И тьма вокруг. Ночь. И в ночи свет. Идет дождь, дождь со снегом, и горит чужое крыльцо. И оно превращается в светящийся в ночи вокзал. Идут люди. Бегут люди. Они опаздывают на поезд. Они кидают отчаянный взгляд на часы: о, все! Нечего и бежать! Уже опоздали! И садятся на узлы и баулы, на мешки и чемоданы, и плачут, и растирают по щекам слезы. И я иду по вокзалу, между ожидальных кресел, иду на тепловозные гудки, на мелькание огней в огромных, как ночное небо, окнах, на стук колес. Это мой поезд ушел? Нет, мой меня ждет. Это ее поезд ушел. И мне его не догнать. Я поеду по другому расписанию. По другому маршруту.

Женщина запустила ложку в салатницу, зачерпнула салат, положила на чистую тарелку и протянула в мою сторону. Тарелку подхватили и мне передали. Поставили напротив меня. Я обернул лицо к чужой жене и кивком поблагодарил ее. А потом взглядом. А потом улыбкой. Вспомнил, что у меня нет зубов, застыдилась и сжал губы. И улыбался скупой, одними губами. Не скалился. Женщина прижала руку к груди. Ее тонкие смуглые пальцы красиво смотрелись на фоне белого хиджаба. Я подумал: хорошо бы написать ее портрет. И тут же испугался. Ни за что и никогда. Чтобы она умерла?

Голос рядом со мной сказал: «Пируем напоследок, Баттал наш уезжает на войну! На джихад!» Другой голос подхватил: «Герой! Все верно делает, он настоящий мужчина! Не чета многим слабакам!» Я повторял про себя, я спрашивал себя растерянно: на войну, на какую войну? Он мне ничего не сказал! Да я и не спрашивал. И не спрошу теперь. У него праздник сегодня, и я пришел разделить праздник с ним. Вот и все. Знаете, есть такая древняя мудрость: не просят — не лезь. Принимай все смиренно. Молчи, если не требуют тебя к ответу.

А тут я познакомился с одним прикольным парнишкой. Таким чудным, ухочешься! Ночью, в темных дворах, напали на девчонку. И я встал на колени и стал за нее молиться. А тут парнишка этот подвалил. И быстро насильников раскидал. Насильники-то были молоденькие пацаны, справиться с ними оказалось легче легкого. И я повел этого забавного парнишку к себе в подвал. По дороге мы с ним даже выпили, купили водку у таксиста. Парнишка, коротко стриженный, чуть раскосый, смуглый, лицом напоминал мне татарина; ну что-то восточное в нем точно просвечивало. Везло мне на Восток. Тщедушный он был, ну такой тощенький, что тебе астраханская вобла. Я заварил чай с бутонами роз, мы попивали чаек, болтали о всякой всячине. О чем говорят люди за чаем, за кофе? Они на самом деле не говорят. Они

молчат. Это им только чудится, что они беседуют. На самом деле они медитируют. И слышат свои голоса внутри себя.

Он вспомнил, где он меня видел: у Баттала на празднике. Я, как ни силился, не мог вспомнить его. Я звал его: Ефим, он звал меня: Мицкевич, по фамилии. Ну, может, ему так удобнее было. Чем-то неуловимым он мне напоминал моего несчастного сына Юрочку, вечного заключенного.

Наши узники! Наши преступники! Наши заключенные по всем тюрьмам и лагерям! Надо ли винить режим в том, что они в стране есть? Или тут дело в другом, не в режиме? И что такое режим? Что такое власть? Вы хотите сказать, что в чьих руках власть, в тех руках и наши жизни? Что власть и ты, власть и я — это мертвая такая, крепчайшая сцепка? Что от власти как ни прячь голову в песок, трус, как ни запирайся на все замки, рак-отшельник, как ни заслоняйся ширмами, ставнями и пуленепробиваемыми стеклами, она тебя все равно найдет и, если ей это надо, уберет? Убьет?

Ты кричишь: моя власть преступна! — и идешь, к примеру, на площадь с транспарантом, а на нем написано аршинными буквами: «УБЕЙ ВЛАДЫКУ!» Власть видит эту надпись. Она все видит и слышит. Ночью к тебе приходят, ты уже арестован. И ты уже за колючей проволокой — сибирская тайга большая, тундра еще шире. Полно в стране лагерей. И даже новые строят. А куда денутся.

Ты выходишь из заключения. Ты обозлен сверх меры. И ты говоришь: я все равно убью владыку! Того, кто мучил и терзал меня! Кто засадил меня за решетку! Оружие достать? Да пожалуйста. Заговор выстроить? Да сколько угодно. И вот день покушения. Или ночь покушения, все равно. Ты стреляешь метко. У тебя хороший глаз и твердая рука. Ну попал же Ли Освальд в президента Америки. Попадаешь и ты. Человек, что правил тобой и твоим народом, падает замертво. Скажи, ты об этом мечтал?

Скачет конная милиция. Или, может, уже конная полиция? Да, полиция, конечно, я все путаю эти названия. Грохочут танки, утюжат новенькими гусеницами взбесившиеся улицы. Орут гудки машин. Гудят трубы заводов. На улицах стреляют. В метро все едут с лицами мрачными, как уголь в топке. Все матерятся вслух, безнаказанно: сейчас никто не накажет за скверную ругань, ведь рухнула страна, и рассыпались в прах ее законы. По асфальту льется кровь. На площадях люди, толпясь и толкаясь, давят друг друга, режут друг друга ножами. Ненависть вырывается из тайника и метет над кремлями и небоскребами, над избами и бараками. Над казармами и стадионами. Вы хотите, чтобы военные взяли власть? О, они ее возьмут! Ведь у них оружие, танки и ракеты. Кажется, это называется хунта? Звучит неприлично. Как ругательство. Хунта! Вашу мать!

Или нет! Нет! Не так. Все не так. Власть возьмет друг убитого президента. Его закадычный дружок, они вместе учились в школе, вместе дрались в подворотнях, потом вместе служили в армии и работали в разведке. Дружок этот выедет на белом коне на Красную площадь, а может, верхом на танке последней модели, а может, просто взлезет на наспех сколоченную трибуну и заорет в микрофоны, и это услышит вся страна: «Всем стоять! Всем лежать! Молчать! Шаг влево, стреляю, шаг вправо, стреляю! Распустились! Расхристались, гады! Не жилось вам спокойно! Не елось, не пилося с фаянсовых тарелочек, из луженых чайничков! Ну ничего! Мы вас в кулак всех соберем! В кулак! И будем давить! Медленно, но верно! Чтобы вы стали задыхаться! Молить о пощаде! Чтобы стали тут же нежненькими, тепленькими и послушненькими! Чтобы по струнке ходили! Честь отдавали! Равнение направо! Смирно! Вот так! Так! Ну что, теперь поняли, что такое власть?!»

О да. Да. Мы забыли, что такое власть. Мы думали, мы свободны.

И слегка расслабились. И изрядно обнаглели.

И стали ругать власть почем зря, измываться над ней, издеваться. Потому что мы все видели, как обжирается власть, как набивает себе брюхо черной икрой и осетрами, как вливает в себя бочки коньяка, как гребет себе под живот мешки с деньгами, как гоняет на «мерседесах» по автострадам, и сбивает чужие нищие машины, и давит пешеходов, и нагло смеется над народом: «Народ? Это разве народ? Это было! Скот! Скотину не грех и раздавить! Ее надо давить, скотину, убивать! Резать! Вешать! Народ для того и создан, чтобы вешать и резать его! И стрелять в него! И даже хоронить этот чертов народ не надо, пусть так валяется на площадях и задворках, пусть так гниет! Народ, видишь ли! Заслонился святостью, закрылся золоченой иконой! А мы ту икону — вырвем, расколем на дрова да в костер! А мы народу этому — пулю в грудь! Мы твои владыки, поганый народ, а ты наш слуга! Вот это правильный порядок, хороший!»

Глядели мы, глядели на такую нашу власть и вдруг подумали: а если мы сами власть возьмем? Если преступную власть — уберем, скинем?

Ефим говорил мне, что он занимается революцией. Он и его друзья, они против нынешней власти. А я сидел в подвале, наблюдал, как муравьи снуют за стеклом, как то спасают, то убивают друг друга, то волокут друг друга на спинке, то перегрызают жвалами друг другу тощие шейки, отгрызают лапки и усики. Когда муравьи видят, что их сородич умирает, они помогают ему умереть. Жестоко? Да. Еще как жестоко. Но ведь и древние люди сажали на санки своих стариков, везли их на снежную гору и стаскивали санки в овраг! Умирай, старик, не своею смертью! А мы, мы помолимся за тебя! Иди к богам и предкам с миром!

Мы. Что такое мы? Во что мы превратились? Какая власть нам нужна?

И защитит ли она нас, если придет беда?

Может, мы сами себя защитим?

Но ведь наша власть — это мы. Наш властелин — он из нас. Он не голубых кровей. Он из народа. Он тоже народ. Он говорит на нашем языке. Он ест нашу еду. Он родил на свет детей, как мы. У него умирает родня, как у нас, и он ее хоронит, и он заказывает в церкви по умершим панихиду и сорокоуст, как и мы, мы по своим покойникам. Он такой же, как мы! Он просто посажен над нами, высоко, наверху, чтобы мы все отовсюду видели его, и оценивали его поступки, и ругали его, если делает он плохо, и хвалили его, если делает правильно и хорошо, и понимали его, умного, и плевали в него, в глупого. Нас много, а он один! И поглядите, как трудно ему с нами со всеми, с огромной такой землей, с безумной Россией, которой то не так, это не эдак, которой то слишком мало всего, то слишком много, которой кричат отовсюду: «Ты наглая захватчица!» — а она спасает людей от верной смерти; «Ты тюрьма народов!» — а она держит на свободе вереницу преступников, от ничтожных воров и пьяниц до тайных богачей и играющих в открытую, скалозубых бандитов.

Россия, ее так хотят видеть преступницей, весь мир вдруг ополчился на нее, а она ведь великая. Великая! Была, есть и будет. Я, поляк Мицкевич, знаю все про свою Россию: она под покровом Матушки, и между ладонями у нее чистый ясный Свет. Это я, я сам, помолясь, написал ее портрет. И каждый день пишу. И сейчас пишу.

Вот Ефим, он всерьез хотел убить нашего царя. Даже целый план разработал. Он мне говорил. Однажды пришел ко мне в подвал, сильно навеселе, качался, как маятник, за стены держался. Я чаю вскипятил. Еле усадил его, он все вскакивал и мотался по подвалу, стал падать, выставил локоть и локтем чуть стекло не разбил. Звон раздался, муравьи всполошились. Я пригрозил ему, что прикручу его веревками к стулу; тогда он сел, грел руки о чашку и, плетя языком вензеля, стал делиться со мною подробностями покушения на Первого Человека в Стране. Я едва удерживался, чтобы не

расхотаться в голос. «Я найму летчика, ну, знаешь, даже не летчика, а вертолетчика. Вертолет — это, брат, классно. Это как в бандитском фильме. Ну, мы все сложимся, естественно!.. у нас, знаешь, есть такой мужик в партии, Тройная Уха, у него все схвачено, за все заплачено... денег у него куры не клюют... но это неважно, у него есть связи... там нефть, газ, все такое... там вообще, старик, слышишь, мировые деньги... к которым, ну, допуск у немногих!.. ты че скалишься, я тебе правду говорю!.. Я заманю его в вертолет, ну че смотришь, да, его, его самого!.. чем, спросишь?.. а-а-а-а, это уже наша тайна, старик!.. наше ноу, так сказать, хау!.. но заманю такой заманухой, что он на нее беспрекословно пойдет, клюнет сразу, бесповоротно!.. За ним, понятно, влезет его охрана. Он же без охраны никуда! И лестница подымет-ся, и люк задраю, и я дам знак пилоту... винт завертится, и мы взлетим... взлети-и-и-им!.. и вот тут-то я и распотешусь. Я, знаешь, Мицкевич, ты че, ну ты че, ты не смейся, вытащу из-за пазухи автомат!.. а сам буду в тулупе, автомат под шкурой спокойно спрячется. И для начала я уложу этих... его... бодигардов. Бац! бац! бац! — готовы. И что? Мы с ним тет-на-тет. Мордой к морде, в переводе на русский!»

«И что?» — спрашивал я, подливая Ефиму горячий чай. Меня уже всего просто колыхало от смеха. Я представлял себе всю эту пошлую сцену в вертолете, и я пытался представить, что же творилось в душе этого смешного паренька, зачем, почему он до этого всего додумался. Кто ему мешал жить? Какой он жизнью жил, чтобы так, до такой степени возненавидеть того, кто правил его страной? Сидел ли он в тюрьме, как мой сын Юрочка? Нет. Вели его на эшафот, чтобы расстрелять? Нет. Погибал он в нищете, просил подавание, просил на кусок хлеба? Нет. Запрещали ему говорить, зажимали рот? Нет. Оскорбляли? Били прилюдно? Морили голодом? Отнимали детей? Не давали работы? Вышибали из жилья? Что ему власть такого сделала, что он люто, дико, страшно, открыто, чудовищно ненавидел ее?

И не только мне, другу, эту кровавую бредятину поверял, но и с другими своими друзьями, их он называл революционерами, и вправду готовил этот переворот, это покушение, это чумное убийство — не нашего властителя, нет: всей нашей земли?

Залить кровью Россию! Опять! В который раз! Неужели они, с виду такие славные ребяташки, и правда этого хотят? Или они не осознают, что кровь рекой польется?

Нет! Сознают! В том-то и дело, что сознают. И им хочется, безумно хочется, чтобы — полилась!

«И то! — Ефим отхлебывал чай, и чашка дрожала в его руках, чай выливался ему на джинсы, и он вздрагивал от ожога. — И то, глупый ты Мицкевич! Я наставлю на него, на паразита, ствол! Но не сразу буду его убивать, не-е-е-е-ет. Я не буду ему в башку стрелять!.. чтобы его мозги, его куриные мозги брызнули на пол... вертолет замазает, жалко... я его еще помучу. Я над ним — покочевряжусь! Я ему сначала ногу прострелю. И спрошу: а сколько ты наших по тюрьмам рассовал?.. сколько политических за решеткой мается?.. скольких ты заставлял пытать, скольких твои прислужники били проводами по спине, насиловали бутылкой... вздергивали на дыбе, а дыбу из рваной простынки скручивали... а-а-а?! и буду слушать, да, слушать буду, Мицкевич, что он ответит! Только он ведь не будет знать, что отвечать! Он будет стонать и дергаться, а кровь из простреленной ноги будет течь и течь на пол вертолета, все течь и течь... течь и течь... а потом, потом, знаешь, я прострелю ему руку! Правую или левую, я еще не решил! Выстрелю в локоть, пусть локоть повиснет!.. Пусть все у него повиснет... и висит... и так висит... навсегда висит... А я его спрошу напоследок: сожрал Россиюшку?.. выгрыз ее сладкие потроха?.. теперь пусть Бог тебя пирожком угостит! пирожком с котятами! с волчатами! с ребятами... с нашими ребятами... и кости ребяташек наших пусть на твоих зубах хрустят... И потом... потом...»

Он размахнулся и швырнул чашку. Она влетела в стену и разлетелась на мелкие куски.

Хохотать мне расхотелось. Я погрел руки о чайник. На улице мела метель. Как всегда. Десять месяцев зима, остальное лето. Я просто сознание терял от этой дикой злобы, что выплескивалась на меня, как грязная вода из ушата, изо рта Ефима, из его бессвязных, полоумных речей. Ненависть вспыхивала между слов, превращалась в слова, превращалась в оскал. Я видел: еще немного, и он сам умрет от своей ненависти. Это все надо было как-то остановить.

Я не знал как. Зажать ему рот рукой? Обнять, прижать к себе, погладить по голове? Прошептать: успокойся ты, дурачок? Дать пощечину? Заорать: хватит! Довольно! Облить кипятком? Чайник булькал. Кто поставил его на плиту? Моя старая электроплитка то и дело перегорала. Вот и тут она взяла и опять перегорела.

Погасла старая красная спираль.

Как раз тогда, когда я уже хотел было схватить Ефима за воротник, встряхнуть хорошенько и крикнуть ему в ухо: заткнись! Всегда был царь и был народ!

Сверкнула искра, раздался треск, и выключился свет. Вовремя.

Мы замерли.

Когда глаза привыкли к темноте, я различил во мраке блеск оконных стекол и медленное шевеление моего муравейника. Ефим сопел в кресле напротив.

Молчание муравьями бегало по нас взад-вперед, щекотало нам сердца. Я не выдержал первым.

«И потом ты его убьешь. Я понял. Убьешь во имя чего?»

«Во имя свободы», — тихо, потерянно пробормотал Ефим.

«Какой свободы? — спросил я также тихо. — Что такое свобода? Ты знаешь, что такое свобода?»

Мы оба говорили очень тихо. Почти молча. Как муравьи.

«Ну... я догадываюсь...»

«И что же она такое?»

«Свобода, ты, слышишь... ты... ну... ну, это... знаешь, свобода...»

Я видел, ему совершенно нечего ответить мне на этот простой вопрос.

Потому что он, бедный мальчонка, и правда не знал, что такое свобода.

Потому, что он был слишком свободен.

Он жил внутри такой свободы, которая была хуже тюрьмы. Потому в ней каждый был за себя и каждый держал отчет за поступки свои перед Богом, а Бога-то никто и не знал: Бога забыли.

Поэтому в такой свободе никто по-настоящему и не нуждался. Хотели свободы другой.

Но как выглядит эта другая свобода, и от чего надо быть свободными, и во имя чего надо освободиться, тоже не знал никто.

«Ну... это... знаешь, когда ты берешь билет на любой рейс и летишь в другую страну... в любую... в какую захочешь...»

Я улыбнулся в темноте. Ефим не видел этой моей беззубой улыбки. Он смотрел себе под ноги. Кажется, губы у него тряслись, он хотел заплакать.

«Ты и сейчас можешь полететь в любую страну. В какую захочешь. Зарабатывай деньги и поезжай».

«Да... да... ну да... А это... Ну, жилище! Крыша над головой! Мы же все живем как нищие... мы же не можем купить квартиру... мы ютимся черт знает где... и с кем...»

Я опять улыбался. Я все время улыбался. Важно было улыбаться. Внутри и снаружи. Улыбаться всегда.

«Но ведь у тебя есть крыша над головой? И ты спасаешься от дождя и снега? И в доме тепло? Вот даже у меня тепло. Видишь, у меня есть печка. И я топлю ее. Дровами. И не жалуясь. Каждому свое. Одному дворец, другому печка с дровами. Есть у тебя деньги, купи себе жилье, какое хочешь».

Он внезапно обозлился. Сидя в кресле, замахал руками. Стал похож на заводную куклу. Меня опять разобрал смех. Но если бы я тогда засмеялся, у меня бы слезы тут же хлынули из глаз.

«Деньги! Деньги! Они же захапали себе все деньги! Все деньги — у них! У толстопузых! Они ими распоряжаются! Они к ним допущены! А мы — нет! Нам слабо! Мы для них... мы... мы... — Он показал на светящееся во тьме окно. — Муравьи!»

«Значит, тебе нужны просто деньги?» — тихо спросил я его.

И тут Ефим сломался. Я даже не ожидал, что он сломается так быстро. Я думал, он будет со мной спорить, горячиться, бешено, пьяно кричать, полезет в пьяную драку, будет доказывать мне, что он прав, и что власть поганка, и что революция неизбежна. Он согнулся пополам в кресле, будто ему перебили хребет, и застонал. Простонал так длинно, страшно, будто волк выл далеко, в снежном поле, под острыми иглами звезд. Я никогда не слышал у людей такого дикого стога. И пока он так стонал, я понял, чего ему не хватало. Его свобода — это была просто хорошая жизнь. Просто хорошая жизнь, полная чаша! Чаша, полная достатка, праздника, радости и любви. Да, любви! Ему просто не хватало любви! А он думал все это время, что денег! И вдруг, здесь и сейчас, он это осознал. Внезапно и страшно.

Господи, какая же это мука на земле — жить без любви!

И я осознал, что я не просто люблю; я емь сам любовь, поэтому мне легче всех. Я есть любовь, я любовь, и я не дарю любовь, не люблю — я, любовь, есть всегда, и это обо мне мечтают, меня призывают, мною любят, я сам любовь и молитва, мною молятся и обо мне плачут. Боже мой, ведь любить и быть любовью — это разные вещи! Любовь была, есть и будет. А те, кто любят или ненавидят, те уходят навек, исчезают, тают, тают.

И когда я это осознал, ну, что я сам любовь, мне стало так легко и прозрачно, что Ефим, даже пьяный, даже внутри своей дикой ненависти и боли, это почувствовал. Он поднял лицо и исподлобья так изумленно поглядел на меня, такими мрачно светящимися, горящими, как у кота, глазами, они у него будто зеленым фосфором пылали.

И тут он такое сказал! Если бы я был не робкого десятка и если бы я не был философом, я бы содрогнулся.

«Ты!.. ты... — Он шумно глотал слюну, и кадык у него дергался. — Ты... Думаешь, я его убить не могу?.. Я же видел, ты надо мной внутри себя смеялся... ржал... Да я... и тебя могу убить! Если захочу! Ну вот сейчас захочу — сейчас и убью! Что?! Не веришь?!»

Мы сидели в подвале, как при луне: это снег так ярко сиял за окном, и сугробы, как фонари, мерцали и лучились, и снежные лучи били мне в окна, беспокоили призрачным светом моих муравьев.

«Ты меня убьешь, да! — Я решил отбить удар. — Убьешь, Ефимка. А знаешь почему? Потому что ты его убить не сможешь. Владыку. Владыка далеко. А я рядом. Поэтому и сможешь. Ну, давай! Налетай! Чем убивать будешь? Ножом? Удавкой? Или голыми руками? А может, у тебя при себе пистолет? Ваш, революционный?»

Он все так же глядел на меня исподлобья. Буравил фосфорными, кошачьими глазами. Ежик его волос тоже светился, чуть шевелился: он страдальчески собирал кожу на лбу.

«Нет. Пистолета у меня нет».

Он заметно трезвел.

«А чем же ты тогда меня убьешь? Мыслью? Прикажешь умереть?»

Он криво усмехнулся.

«Нет. Я так не смогу. Я тебе не Вольф Мессинг. И не твой Иисус Христос».

Я улыбнулся. Мне даже стараться не пришлось, губы сами раздвинулись. Я смотрел на него сверху вниз.

«Иисус никогда никому не приказывал умереть».

Он показал в оскале пожелтевшие, черные от табака зубы.

«Ишь ты! Никому! А ты, Иисусик? Ты можешь приказать? Ты же все время молишься! Молитвы бормочешь! Вот ты и проверь их силу! И опереди меня! Не я тебя, а ты меня! Ну, порази громом! Ну, задуши мыслью! Загрызи! Ведь мысль — она тоже хищник, она волк голодный, у нее зубы, у нее когти! Ну, давай, валяй! Кто кого!»

У него поднялись руки и скрючились пальцы так, будто он хотел разорвать рубашку на груди.

Я сидел спокойно. Холод поднимался от моих ступней к коленям. Полз выше, по бедрам, к животу.

«Я не хочу с тобой сражаться».

«А, не хочешь?! А я хочу!»

Его руки протянулись вперед, он пошевелил во тьме скрюченными пальцами, опять ослабил. Я не успел увернуться. Он боднул головой воздух, рухнул вперед, и его руки сомкнулись у меня на горле. Мы оба уже лежали на полу и катались по полу, и мой родной мусор: бумажки, окурки, пух из подушки, натеки воска, коробки из-под сигарет, резинки для волос, крошки и корки — все липло к нам, впечатывалось в нас, клеймило нас. Мы валялись и боролись в грязи и во мраке, и Ефим задел ногой ножку стола, и чайник покачнулся на плитке, упал, кипяток вылился под наши животы и бока. Ефим заорал, а мне ничего не стоило побороть парня: хоть я был вдвое старше, я был втрое сильнее. Я скрутил его в два счета. Заломил ему руки за спину, и крепко держал, и громко дышал, и уже хохотал.

Я хохотал так заразительно, что и он не выдержал и, лежа ничком на грязном полу, прыснул, потом залился тонким, ребячьим, детским каким-то смехом. «Ну что, — говорил я сквозь хохот, — убил меня?! Убил?! Убил?!» Он извивался подо мной, заходил в пьяном смехе, стучал ногами об пол: «Твоя взяла! Твоя взяла!» Я отпустил его, помог ему подняться, усадил за стол, зажег свечу, поковырялся в плитке, наладил спираль, наново вкрутил пробки, налил воды из ведра в чайник, поставил на плитку, потом подтер тряпкой горячую лужу на полу. Он, пока я делал все это, задумчиво бормотал, пошевеливая крючьями пальцев: «Ну да, вот она, война, в войне всегда побеждает тот, кто сильнее, я же знал это, ну я же знал, куда же я полез, ах ты черт». Чайник шумел. Я включил свет. Мы оба зажмурились. Свет был над нами, и свет бил изнутри, и свет был в нас. И мы сами были свет. Свет был сильнее нас, сильнее тьмы, сильнее войны и мира, сильнее времени. Свет был до времени и будет после. А мы-то, мы, слабаки, что мы еще дергаемся!

Из носика чайника повалил пар. Я выключил плитку, разлил по чашкам заварку и кипяток и тихо сказал Ефиму: «Человека убить трудно только в первый раз. Тебя стошнит, ты будешь блевать, ты даже можешь потерять сознание. Но это только впервые. Потом уже не страшно. Потом все идет как по маслу. Будем считать, что мы оба пошутили? Да?»

Я видел, как ему трудно было говорить. Он смотрел на чай, чашка дымилась. Я жалел его, как ребенка. Как Юрочку. Он тоже заблудился. Он считал меня бродягой и беднягой, а на самом деле бедняга и бродяга-то был он, и не знал он, куда себя

приткнуться, не знал, куда податься, что делать в этой жизни. Они все были наши дети, и они все потерялись. И это мы их потеряли. Мы сами. Значит, мы и виноваты.

«Да», — наконец выдавил он из себя, так я выдавливал масляную краску из старого тюбика, засохшую, густую. «Пей чай, остынет, — сказал я, — с горяченького протрезвешь». Да он уже был почти трезвый, совсем трезвый. Он постепенно осознал, что произошло, и ужасался, и кусал губы, и ловил ноздрями чайный горячий пар, и молчал.

А потом он пришел еще раз, эх, раз, еще раз, еще много-много раз, и мы с ним опять пили чай, и я, уже безбоязненно и радостно, философствовал на всякие важные темы, а для меня, как для истинного философа, любая темы была важной, и в то же время она и неважной, совсем никчемной была, гроша ломаного не стоила; так думать было хорошо, правильно, ни к чему не надо привязываться, если привяжешься, а пути твои порвут или перережут, так больно, не сказать как. Я и Ефима так учил: не привязывайся ни к кому, ни к чему! Иди по земле свободно! Чем ты свободнее, тем ты счастливее. «Значит, и любить не надо?» — мрачно спрашивал он. Прихлебывал чай. Я весело улыбался в ответ. «Значит, не надо!» В его глазах зажигалось мрачное изумление, он нюхал чайный пар. «Значит, не надо?» — «Если нельзя, но очень хочется, значит, можно», — продолжая улыбаться, отвечал я. Он дергал плечами, дергал губой. Его не устраивало это объяснение.

Я читал Ефиму свои письма из будущего, которые писал сыну Юрочке, заключенному, моему бедному преступному сыночку, писал и складывал на полочку в своем подвале, а полочку паук тихо затягивал паутиной, и по стене к исписанным листам медленно подползала мохнатая, похожая на ягель плесень. Я вставал, брал с полочки листы, мрачно горящие, по-татарски узкие глаза Ефима следили за мной. Иногда я видел на его лице только глаза: носа, рта не видел, одни глаза светили в меня и просвечивали меня. Я садился к столу и спрашивал: «Будешь слушать?» Он молчал. Я все равно читал. Пусть он меня не слушал: я читал мху на стене, чаю, пауку. Я заканчивал читать и робко взглядывал на Ефима. Кроме его глаз, я теперь видел его губы. Они смеялись. Под ними тускло светились желтые от табака зубы. «Какая бредятина», — говорил Ефим, и я видел, он с трудом удерживается от громкого смеха. Я махал рукой: «Ну давай! Смейся! Разрешаю!» Он выдавливал из себя два сухих, куцых смешка, умолкал и цедил сквозь гнилые табачные зубешки: «Не смеется, если разрешено. Смеется, только когда запрещено!» Я гладил измаранные записями листки. «А что смешного? Нет, что тут смешного, скажи?» Ефим закуривал и ссыпал пепел в чайное блюдце. «Ну, смешно, что из будущего. Да еще после атомной войны. Какие-то кукольные письма. Клоунские. Ты хоть догадываешься, что никто жив-то не останется? Нет, ты не догадываешься. А пора бы уж и догадаться!» Я тоже закуривал, глядел на Ефима неотрывно, тоже стучал пальцем по сигарете. И мой пепел летел прямо в мой холодный чай.

Ефим мне в сыновья годился, а был умнее меня. И горе, горе ему будет от его ума.

А я умею отключать горький, как хина, ум; и счастлив я, и весел, и ветер мне в зад.

Я больше не читал ему писем из будущего. Ефим сам был мне письмо из будущего, только еще не написанное. И мне почему-то все казалось: когда его напишут, его зло сомнут в кулаке, и подожгут, и сожгут. Быстро горит бумага. Ткань быстро горит. А сколько времени горит человек? А за сколько времени сгорит Земля? Не смейтесь, я фильмы ужасов тоже смотрел. Но одно дело, когда умелый режиссер поджигает бутафорию, картонные декорации; и совсем другое, когда мир горит по-настоящему.

Что я мог сделать для Ефима? Для Юры? Для всех этих наших детей, что ненавидели власть, играли в революцию, ленились работать? Для них, бездельников, скитальцев, дешевых ночных бандитов? Они сами выбрали тунеядство и презрение ко всему, что не они сами. Они соль земли, все остальные — окурки и отбросы. А на деле отбросами-то были они, и уже не в наших силах было сделать их заново людьми. Человек не электрическая пробка, его заново не вкрутишь. Если он перегорит, так это навсегда.

Да, так родилась особая порода людей, и эти люди сейчас заполнили все континенты, всю планету. Общество хворает, как и человек. Оно покрывается язвами, харкает кровью и страдает шизофренией и паранойей. Это неизлечимо? Излечимо? Я не знал. Мое дело было молиться, но я с ужасом понимал: я скоро возненавижу свою бесцельную, бездельную молитву. Работа духа тоже дело, твердил я себе, садясь в позу лотоса, складывая ладони на груди, но нет, мой дух и мое тело требовали дела, настоящего дела! Я так его хотел!

Я устал жить в подвале и бесконечно молиться.

Я хотел выйти в мир и честно, громко, открыто, в лицо миру говорить о том, как мир заврался; открыто воевать с Распадом, обнимая всех Светом; воевать с теми, кто хотел войны и всячески приближал ее.

Ефим и его друзья кричали: уьем власть, она вооружается и хочет войны! Власть кричала с высоких трибун: скрутим в бараний рог революцию, экстремистов и террористов, они вооружаются и хотят войны!

Всеобщее примирение? На развалинах мира? Сначала взорвем мир, а потом, рыдая на руинах, помиримся, обнимем друг друга? Неужели для того, чтобы крепко обняться, надо сначала перебить половину человечества?

Я молился за всех: и за любящих, и за ненавидящих. Вспыхнула революцией и гражданской войной соседка Украина, и я молился и за Майдан, и за тех, кто пытался вал войны остановить. Украина открыла страшную шкатулку, оттуда вылетел черный воздух мести, и люди глубоко вдохнули его. Русские разъярились: нам не дают говорить по-русски на Украине! так выкусите, отделимся от Незалежной! — а украинцы озверели: ага, Россия отрезала от нас Крым, а теперь хочет еще и оттяпать Донбасс?! не дадим! И вот она, настоящая война, покатила по земле колесом и всех начала давить. И мир не слышал, как русские в Крыму отчаянно кричали: это мы, мы сами выбрали Россию, потому что не хотели потонуть в морях крови, как Донецк и Луганск! — и глух мир оказался к тому, что на города Донбасса сбрасывали мины, палили по ним из всех углов, швыряли фосфорные бомбы, глухой и слепой мир отворачивался и не видел, как от разрывов и осколков в больницах умирают дети, и за руку не хватали тех, кто отдавал приказы в Киеве, а только кричали, надрывая глотку: это все Россия, Россия виновата!

Я, великий молещик за всех, вдруг понял в эти дни, когда война взорвалась на Украине и полетели в стороны осколки и черная земля: Россию ненавидели всегда, во все времена, а поскольку времени нет, значит, ее ненавидели вечно. Ненавидели, а боялись. Боялись ее силы. Ведь она могла запросто любого завалить и побороть. Это раздражало. Это возмущало! По всей России поднимали голову те, кто мечтал о ласковой Россиенке, о Российке-малютке. Зачем хвастаться силой и надуть мускулы! Разве нельзя нашей милой странишечке, славненькой Россичке уменьшиться в своих оголтелых, никому не нужных размерах, съежиться, скукожиться, стать такой маленькой и уютненькой, как обычная европейская уютненькая страна, и все в ней чудесно и удобно обустроить, и жить себе припеваючи, и ни к кому не лезть, и всех слушаться, и подо всех ложиться, и всем потрафлять, и со всеми вежливо торговать, и всем делать реверансы, и всячески разоружаться, безжа-

лостно топить в океане атомные подлодки и швырять на переплавку артиллерийские снаряды, и слабеть день ото дня, но это же ко благу, это же только на пользу, чем мы тише и слабее, тише воды ниже травы, тем к нам больше благосклонны, нас похлопывают по плечу, нам улыбаются, нам бросают подачку, нас прощают! Да, да, прощают, даже если мы ни в чем не виноваты!

Было бы кому прощать. Охотники найдутся.

Но не дай бог нам стать сильнее. Выше. Крепче. Победительнее. Праздничнее. Умнее. Мощнее. Этого нам не простят. Не простят ни за что и никогда.

И уже не прощают.

Вокруг меня со всех сторон вопили разные люди на разные голоса: еще есть время! еще нам можно спастись! не надо строить вокруг страны китайскую стену! не надо ужесточать режим! наоборот, надо дать слабину! и выпустить из тюрем всех преступников! и дать всем полную, полнейшую свободу, что хочу, то и ворочу! и отдать чужим государствам те земли, что они у нас требуют! во имя сохранения мира! и вернуть обратно Крым! и повлиять на безумный Донбасс, чтобы не рыпался! и уйти насовсем с Ближнего Востока! и хватит уже сражаться с террористами, вы и их оставьте в покое, пусть себе стреляют и взрывают! ну когда-нибудь насытятся же! успокоятся! вы лучше их ублажите чем-нибудь соблазнительным, этаким, ну, отдайте уже этому пресловутому Исламскому государству те земли, на какие оно покушается! эй, узбеки, таджики, казахи, туркмены, азербайджанцы, афганцы, иранцы, иракцы, турки, ну оттяпайте уже по кусочку от ваших стран в жертву Новому халифату, вас не убедит, а мир сохранится! Мир! Сохранится! Вы что, оглохли все, не слышите, что ли?!

Я зажимал ладонями уши. Я понимал: это люди так хотят запастись жалкой кислородной подушкой на случай всеобщего и навечного удушья. И я знал: я буду не я, если я не возвышу свой голос, не подниму его от тихой молитвы до громкой проповеди.

Но кто я такой? Жалкий подземный крот, невидимый муравей, век таскающий за собой свой крест, сколоченный крестообразно сосновый подрамник, и холст на нем, натянутый туго, как кожа на барабане. Холст — моя кожа, крест — моя молитва. Все правильно. Все привычно.

И это я, старый муравей, хочу выползти из-под земли, и поползти вперед, вперед и вверх, и лапками махать, и пищать, да никто же меня не услышит, а услышит — не поймет, а поймет — возненавидит, а не возненавидит — так просто так, походя, сапогом раздавит, на всякий случай? Зачем ты обольщаешься, уговаривал я сам себя, куда ты лезешь, Андрей, в какое пекло голову суешь? Не лучше ли сидеть тихо и продолжать себе под нос молиться и медитировать?

Ефим уехал на войну. На Украину, на Донбасс. Он позвонил мне, и в моем старом мобильном телефоне я услышал его тихий, как у девушки, голос, он всегда так говорил, тихо и быстро, орал он, только если его разозлить: «Мицкевич, прощай, друг, я уехал на Украину». Я слова не разобрал и проорал в трубку: «На какую окраину?!» Телефон помолчал. Я грел его ладонью и ухом. Я уж подумал, связь разорвали, но голос Ефима полоснул мне по щеке: «На Украину, придурок ты, глухой Бетховен. За русских на Донбассе биться! У нас автобус идет партийный. Ну все, пока». Пока, говорил я уже гудкам, гудки бились и стонали у меня в ухе, все верно, долгие проводы — лишние слезы.

А тут к нам в Нижний Новгород взял да появился Патриарх всея Руси. Событие! И я, хоть в церковь не ходил, мне моей подвальной молитвы было достаточно, тут начистил башмаки, придел мохнатый тулуп, которым накрывался зимой для те-

пла, когда спал, гладко причесал и аккуратно стянул резинкой свой конский хвост и направил стопы в храм Божий.

В храм Святого Александра Невского на Стрелке, у Оки.

Сказали, там Патриарх служить будет.

Я даже не знал, что туда, в собор Александра Невского, привезли такую мощную святыню, Пояс Богородицы. Я пешком перешел по мосту Оку, вода уже затягивалась первым тонким, прозрачным ледком, ветер дул мне в грудь и пытался скинуть меня в реку, я боролся с ветром всем телом, высоко поднимал овечий воротник и смеялся. Наконец дошел. Перед собором — такая толпа, просто жуть! Господь помог мне, я как-то удачно, ловко нырял меж людей, между их спин, голов и локтей, протискивался, просачивался и втек в двери. И люди сами, стискивая и толкая меня, жалкого, в жарком тулупе, внесли меня внутрь, вплеснули живой темной волной, и я тек дальше, к царским вратам, к иконостасу, и уже видел: Патриарх стоит, воздевая обе руки, и в каждой свечи: в одной руке две перекрещенных длинных свечки, в другой три. И он помахивает ими, так медленно, так важно. А хор поет. И душа моя тут же полетела на небеса. Я уж и забыл, как это в храме службу служат. И себя обругал: вот, мол, лентяй такой, сидишь в подвале своем, как запечный таракан, никуда не ходишь, хоть бы, старик длиннохвостый, в церковь изредка ходил, ведь здесь... здесь...

Я забыл слово «благодать», и тогда, на той Патриаршей службе, я не вспомнил его. Еще долго и Патриарх, и другие батюшки говорили и пели, и пел хор, и махали кадилом, и народ в церкви то гасил, то опять зажигал свечи в руках. Потом причастники медленно, будто плыли и ногами под водой перебирали, поползли к причастию. Я не исповедовался, мне причащаться нельзя было. Но мысленно я был с каждым из этих людей, что шли вкусить Святых Даров. Патриарх зачерпывал позолоченной ложкой из огромной чаши причастие и совал в рот людям. Люди кланялись и отходили. Принять участие в древнем обряде! Это значит успокоить свою душу. Хоть временно, на миг. Ты поживешь спокойно две-три недели, надеясь на миг счастья и чистоты в мире смерти.

Потом Патриарх направился к серебряному ящичку, изукрашенному цветными кабошонами, благоговейно наклонился и поднял крышку. Внутри драгоценной раки лежал Пояс Богородицы, я догадался. И я вдруг так сильно захотел его, этот Пояс, увидеть! И, как все, крышку этой серебряной раки поцеловать! Я опять стал толкаться. Протолкнулся ближе. Еще ближе. Прямо передо мной мерцала эта рака, крышка распахнута, внутри лежит Пояс с огромными такими, плоскими камнями, они светятся, я не разобрал, какого они цвета, то ли темно-красного, а может, бледно-розового, какой же я тогда после этого художник? Или я тогда к цвету ослеп, а видел только Свет?

И вот что меня тогда шатнуло, кто под локоток подтолкнул, не знаю. Не надо, наверное, было этого делать, что я сделал. Но я так захотел, и я сделал, что хотел. Я низко наклонился и сначала приложился губами к откинутой крышке раки, туманно и безумно глянул на Пояс Матушки, потом шагнул к Патриарху и громко спросил его: «Скажите, пожалуйста, если Бог Христос есть, как Он допускает, что люди воюют? Что человек убивает человека? Пожалуйста! Объясните мне! Я всю жизнь над этим думаю, и ответа не нашел!» Все кругом заволновались, зашумели. Меня малявка старушка в бок кулаком толкнула и зашипела: «Святейший владыко! А ну скажи! Святейший владыко, обращайся правильно, ты што, черт хвостатый, не русский, што ли?!» Я послушно и громко повторил за ней: «Святейший владыко!» И замер. Патриарх, весь белый и праздничный, глядел веселыми глазами поверх заросших щек, поверх короткой белой бороды. Чем-то, может, снежной боро-

дой, а может, хитринкой в лучистых маленьких глазках, он мне напомнил бизнесмена Борьку Хвостенко. Он молчал, и я молчал. А вокруг нас такой гогот поднялся! Как на Майдане. Я подумал: ну вот она, революция в церкви, и это я ее сделал, вызвал огонь на себя. А всего-то задал простой вопрос! И тут Патриарх разлепил губы, усы и борода его дрогнули, и он выпустил наружу голос, как птицу из клетки, — резкий и чуть скрипучий. «Чадо, а ты не допускаешь, что наш мир находится не только под белым крылом Бога, но и под черным крылом сатаны?» Я не растерялся. «И это знаю! И знаю, что человек делает выбор между злом и добром! И все же! Почему мы все всегда живем под дамокловым мечом ужаса? Как избавиться от ужаса близкой войны? Ужас смерти поборол Христос, да! Он воскрес — и все поняли, вот, может, и они воскреснут! И стали верить в это! Но мы худо-бедно справляемся с ужасом отдельной, нашей смерти. Только нашей! Ну, родных наших! А как нам быть с тем ужасом, который нависает над нами всеми? Пожалуйста! Скажите! Неужели миру нельзя раз и навсегда избавиться от войны?! Неужели — нет?!»

Что тут поднялось вокруг нас! Неописуемо. Все в храме орали так, что даже хор заглушали! И регент дал хористам знак: перестать петь! Патриарх поднял обе руки ладонями вверх. Так на иконах пишут святых, когда они возносятся на небо. Или Богородицу Оранту, я этот жест на иконах Матушки сто раз видел. Вот так же поднял руки и Патриарх. И так стоял. И все замолчали. И в полной тишине чуть надтреснуто звенел этот теплый, скрипый, усталый голос, эти связки много смыкались, эти губы много говорили, увещевали, изъясняли, исповедовали, смеясь от великой радости, восклицали: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И все слушали. А за чем же все тогда сюда пришли, как не за словом Божиим?

«Поймите все! — говорил Патриарх, возвысив голос, и, говоря, закрывал глаза, будто слушал далекую музыку. — Времена меняются. Если раньше все поступки, все деяния мерили мерой Божьей, то потом, с ходом веков, к людям стали приходиться такие мысли: а что это мы все на Бога киваем, на Бога надеемся? И пословицу вспоминали: на Бога надейся, а сам не плошай! И когда люди подкатились уже поближе к нашему веку, мысль о том, что человек, а не Бог определяет и направляет жизнь, воцарилась на земле. Воцарилась, вы слышите! И что же? Я вам так скажу: это ересь. Это опасная ересь, и она гибельна! Раньше Бог — это была наша совесть. Бог был нашим правителем. Мы наши законы соизмеряли с Его законами. Закон Божий, страх Божий! Мы боялись совершить преступление, потому что Бог видел все наши поступки и читал все наши мысли. Но вот пришло время, и люди поглядели друг на друга и весело сказали друг другу: нет, Бог тут ни при чем! Ты веруешь, а я вот не верую, ну и что? Это мой свободный выбор, и это мое право! Право человека — вот главное на земле! И сам человек, и только он один, строит жизнь всего человечества!»

Патриарх помолчал. Обвел всех глазами. Они уже больше не лучились спокойно. Они сверкали, и сам он напомнил мне Илью Пророка, возносящегося на колеснице в окружении могучих мускулистых ангелов, молний и грозových туч. Так я его увидел тогда, и так бы я его нарисовал.

«Так человек стал во главу угла. Человек стал краеугольным камнем мироздания! А не Бог! Так началось изгнание Бога из жизни человека. В Ветхом Завете было, помните, изгнание из Рая, когда Бог пылающим мечом изгнал, после грехопадения, Адама и Еву из Райского сада. Бог изгнал человека и жену его! А тут человек изгнал Бога! Поднял на Бога все, изготовленное им: и железные мечи свои, и бомбы, и танки, и смертоносные ракеты. Уничтожая другого человека, вы уничтожаете Бога в себе и убиваете Бога в другом! А вы думаете — вы человека убиваете?! Нет! Убийца всякий раз, убивая, убивает Бога! И война начинается лишь потому, что

так хочет человек! Все войны так начинаются! Но в чем весь ужас? В том, что человеку надо ведь кому-то служить; ибо человек слаб и над ним есть высшая сила. Изгнав Бога, человек тут же начинает служить другой высшей силе. Не Христу. Служить — Антихристу!»

Старику стало тяжело стоять с поднятыми руками, и он медленно, устало опустил руки. И умолк.

Я сам не ожидал, что вызову такую бурю — и в прихожанах, и в душе Патриарха. А может, я и был послан высшей силой сюда, в этот собор, чтобы такой ветер поднять, такую воду взбаламутить. И то правда: ведь над этим всякий раздумывает. А тут мы, в тот день, просто случайно оказались все около Пояса Матушки, чтобы над этим всем сообща подумать.

Прекрасное слово сказал Патриарх. Здесь было над чем подумать не только в церкви, и я шел домой и думал, варил себе на плитке гороховый суп и думал, ложился спать в мою холодную самодельную кровать из ящиков и думал. Я думал над всем этим даже во сне.

Где-то далеко, в Париже, террористы расстреляли людей. Я смотрел в призрачный мигающий экран, в аквариум времени, там колыхалась мутная вода и плавали тени живых и убитых рыб, и виртуальный мир смеялся надо мной: это была еще одна компьютерная игра, и никого в ней уже не удивляли моря клюквенной крови, красной, вылитой в воду и на землю краски. Призрачная краска, и призрачная вода, и призрачная земля. Я ужасался, шептал себе: ты что, ведь это все живое, ведь все правда, и это настоящие люди! — но подводный экран мигал и гас, и зло можно было убить просто, выдернуть шнур из розетки. А потом грузовик, что вел убийца, передал кучу народу на красивой набережной Ниццы, теплым летним вечером, когда пряное южное небо уже вызвездило, а по набережной гуляли влюбленные, целовались под пальмами, и почтенные старики стояли у парапета, любуясь на огни на темной воде, и стайками бежали туристы, и матери катили детишек в колясках, чтобы дети на ночь подышали свежим морским воздухом. Подышали!

Знаете, я думал, что это все только там, у них, творится. Весь этот ужас.

А мне показали, что нет, не только.

В один день все перевернулось в моем сознании.

И это была Ночь Взрыва.

Спросите, как это все началось? А никак. Обычный зимний вечер. Фонари призрачно, как золотые рыбы в пруду, мерцают сквозь черный мороз. Народ толпится на троллейбусной остановке. Толпится себе и толпится. Кто молчит, уткнув нос в воротник, кто дергает ребенка за руку, кто весело обсуждает насущные дела. Я подошел к остановке. Мне надо было ехать на мое дежурство к Борису Хвостенко в офис. Родя Волокушин уже звонил, рассерженно бормотал в трубку: «Ну тебя и ждать! Ну ты и плетешься! Ну и что, час пик! Нет транспорта — иди пешком! Мне уходить уже надо, на другую работу, а ты вошкаешься!»

Троллейбус показал рога из-за поворота. Приближался, разрезая вытарашенными фарами морозную мглу. Люди заволновались, сгрудились ближе к железной повозке. Между железных рогов проскочила искра, троллейбус тяжело встал, распахнул двери, из них на тротуар вывалилось вспученное, черное людское тесто. И это же тесто, дрогнув на асфальте, опять полезло внутрь машины, толкаясь, ругаясь, дергаясь, жестоко и яростно вминаясь в железную коробку. «Эй! Нажми там! Да что вы мне локтем в ребро, мужчина! Вы мне ребро сломали! Заткнись, гнида, а то я тебе

еще не то сломаю! Граждане, вы там утрамбуйте, пожалуйста, потеснее, в тесноте, да не в обиде! Ай! Вы не бейте меня в лицо! Шапку потеряли! Шапку потеряли! Да! Поймали! Сюда передайте!»

Я стоял позади всех. И рядом со мной стояла и тоскливо смотрела на окна троллейбуса эта самая, будь она неладна, согбенная, старая старуха. Согнута кочергой, есть такое выражение: старая кочерга, я глянул на эту бабку и понял, почему так говорят. Гнутая, черная, ржавая. Лицо такое ржавое и, чудится, твердое, тверже металла. Вот эти старухи нам грудью Россию выкормили, на руках своих с поля боя вынесли. Громкие слова, скажете? Да какими угодно словами, тихими, громкими, то, что сделали наши старухи и наши старики, не измерить.

Я вырос с пьющей матерью. Я женился на пьющей женщине. Да и Бог бы с ней, пусть бы эта замухрыстая старуха на остановке тоже конченная алкоголичка была! Но у нее, из черного ржавого лица, в глазах светилось, играло, сквозь всю ржавчину и ложь бившей-гнувшей ее жизни, такое, такой Свет, что я обомлел просто — и захотел ей как-то немедленно помочь. Услужить. В троллейбус посадить, что ли!

И вот стоял перед нами этот кошмарный троллейбус, и лезли в него, крича, люди, а я цапнул бабушку эту под мышки и поволок к двери. Люди все лезли и орали, старуха у меня в руках брыкалась, как коза, но я все-таки изловчился и поставил ее, как куклу, на ступеньки. Она ухватилась за стоящего впереди. Чуть не вывалилась обратно на снег. Она материлась, как грузчик на пристани! Такого мата я не слышал никогда! Троллейбус дернулся всем железным телом и поехал вперед, набирая скорость; задние двери, где стояла, вцепившись в чьи-то локти, в чьи-то шали и воротники эта скрюченная старуха, так и не закрылись. И пока троллейбус набирал ход, старуха обернулась ко мне, ухитрилась по-птичьи вывернуть из ободранного воротника тощую шею, и прокричала мне страшно и скрипуче: «Мать твою перемать! Не просят — не лезь!»

Эти слова хлестнули меня по лицу мокрой веревкой. Вот так! Коротко и ясно! Не просят — не лезь!

А я все лезу со своей добротой. А мы все лезем — кто с чем: кто с товаром, купите, не пожалеете, кто с нежностями, ах, милая, ах, миленький, ты видел в жизни так мало любви, кто с войной, эй, давайте объявим войну этим уродам, уродов победим и на продаже оружия неплохо заработаем, кто со своей религией: ты, дурак! поверь в моего Бога, мой Бог лучше, чем твой! моему будешь молиться — и все у тебя будет, чего ни пожелаешь! — кто с воспитанием: не делай так, дрянь ты такая, а делай вот эдак, да нет, я не со злом к тебе, я не бью тебя, не издеваюсь над тобой, это тебе только кажется, что бью и издеваюсь, я ж тебе добра желаю! Кто с чем лезет, и непрошеное добро оборачивается злом. Мгновенно. Бесповоротно.

Троллейбус уже исчезал в дымном зимнем мареве, я уже видел его колышущийся на дороге широкий зад, как вдруг железный саркофаг осветился изнутри бешеным пламенем, железные стенки начали выворачиваться и отваливаться, изнутри раздались адские вопли, колеса спустили, он встал, беспомощно осев на один бок, и это был уже не троллейбус, а взорванный железный общий гроб, антенны повисли мокрыми усами, внутри, за разбитыми окнами, вспыхнул огонь и быстро, жадно обнял, обхватил железный остов. Взорванный троллейбус горел, мы, кто стоял на остановке, ничего не понимали, охваченные молчаливым ужасом; я раздул ноздри и почувал запах паленой резины и паленого мяса.

Из открытых дверей сыпались, валились на заснеженный асфальт и уползали по снегу те, кто остался в живых. Ползла и моя старуха. Я узнал ее. Я бросился вперед, поднять ее, обнять и теперь уже не отпускать, доставить в больницу, отвезти домой, к детям и внукам, если они у нее были, куда угодно, — но нога моя поехала

на льду, подвернулась, я свалился, как мешок с картошкой, и на меня сверху падали и валились бегущие люди, надо мной звучали крики, меня пинали и толкали, я ощущал резкую боль в лодыжке и понимал: ногу или сломал, или вывихнул.

Так меня наказал тогда Бог, наказал за все, что я делал неправильно — за мою гордыню, за мою глупость, — и дал мне увидеть близко, рядом с собою гибель людей, чтобы я сильнее восчувствовал чудо своей, еще не отобранной Им жизни, и я лежал на мерзлом асфальте на животе, подняв голову, смотрел, как горит троллейбус, и думал: ах вы, дряни жестокие, вы подложили туда взрывчатку и сами выскочили, а может, вы смертники и перед взрывом наслаждались мыслью, что, уничтожив сразу кучу неверных, вы прямоком к Аллаху пойдете. Дряни! Бактерии вы среди людей, вирусы вы!

Я, пораженный внезапной мыслью, даже прижался лицом ко льду, уткнул голый горячий лоб в ледяной тротуар.

А может, и правда мы вирусы в теле огромного, величиною с Вселенную, добро-го Бога? Может, это мы, гадкие и опасные люди, жрем великого Бога изнутри?

Милый мой Юрочка! Я знаю, ты обязательно попросил бы меня рассказать, как оно все началось. Эта война. Я ведь все хорошо запомнил. Да, счастливы те, кого не стало в первые секунды, в первые минуты; кто попал в сердцевину взрыва и сразу сгорел, испепелился, вернее даже, превратился в собственную тень. Мы все видели, когда учились в школе, фотографии Хиросимы и Нагасаки: там отпечатки тел людей — на камнях, на железе, на бетоне. Тень вместо тебя! Это было бы счастье. Жизнь после атомного взрыва есть медленная смерть, она растянута во времени, а поскольку мы с тобой знаем, что времени нет, значит, эта ужасная смерть бесконечна.

Началось все так. Я приехал в офис, мне надо было заступать на дежурство, сторожить. Проверил сигнализацию, открыл форточку и немного в нее покурив. Слышал отсюда, с вахты, как открываются и закрываются двери лифта. Люди входили и выходили. Потом передо мной возникла женщина. Она возникла, как во сне. Я не знал ее. Я не помнил ее лица. Такая короткая стрижка, большие черные глаза. Слегка раскосая, скуластая. В короткой юбке. Она проследила за моими глазами, одернула юбку и сказала: «Простите! Простите! Там что-то такое творится! Я боюсь! Спасите меня! Пожалуйста!»

Я встал из-за стола. Раскосая женщина показывала на окно. На что-то там за окном. «Посмотрите! Ужас! Нет, не смотрите! Не смотрите!»

Я отодвинул ее и, хоть она цеплялась за меня и уже ахала и плакала, все-таки подошел к огромному окну. Стекла немытые, успел отметить, у Хвостенко на уборщиц, видно, опять денег нет.

Из наших громадных офисных окон было отлично видно всю заречную часть города — Оку под первым хрупким льдом, свечки небоскребов около вокзала, угольные и хрустальные друзья торговых центров, маленькие жалкие домишки, аварийные, на слом, они даже не стояли, а почти лежали на покрытой слоями жесткого грязного снега земле, как забитые на птицефабрике мороженые куры. Город размахнулся далеко на север и запад, в каменном лесу можно было затеряться. Я увидел ярчайшую вспышку, и закрыл глаза ладонью, и застал. Города за рекой больше не было. Вместо него горел огонь. Стекла треснули, в разлом ворвался горячий ветер, и раскосая женщина закрыла лицо руками и закричала: «Глаза! Мои глаза! Горячо!» Я схватил ее за плечи и повалил на пол. Сам растянулся рядом. Дом дрогнул и сотрясся. Я крикнул женщине в ухо: «Ползем к лифту! Скорее! Пока он еще работает!»

Мы по-пластунски поползли к дверям лифта, в разбитое окно дул жаркий ветер. По всему зданию гуляли крики. Люди кричали. Они, как и мы, не знали, что делать.

Я встал, шатаюсь, и вслепую нащупал кнопку. Нажал. Я все еще жмурился, у меня страшно болели глаза. Я боялся, что, если я их открою, я ничего не увижу.

«Вы ослепли?! Ослепли?!» — кричала мне женщина. Лифт подошел, я услышал, как раскрылись двери. Я ощутил, что вместе с нами в лифт ввалились, дрожа, крича и плача, еще люди. Женщина положила свои руки на мои руки и стала нежно и настойчиво отнимать, оттирать мои руки от моих глаз. «Откройте глаза, пожалуйста, откройте!» Я послушался. Слава богу, я видел. Но все как в тумане. Лифт полз вниз. На табло горела цифра «-3». Лифт преодолел поверхность земли и ушел под землю. Все разом вздохнули. В кабину набилось много людей, нас здесь было человек десять, мы стояли плотно, прижавшись друг к другу спинами, боками и плечами, и я подумал: «Сельди в бочке, шпроты в банке». Представил себе нас всех запеченными, облитыми оливковым маслом. А что, неплохая закуска для Бога.

Для Бога? Может, для сатаны все-таки?

Мы ехали вниз и вот остановились. Двери распахнулись. Мы вылезли и с удивлением и ужасом увидели: минус три — вовсе не глухое подземелье, здесь, в подвале под огромным зданием, тоже были окна. Я сообразил: дом-то стоял на обрыве. На краю оврага, как мой ветхий домишко. И досужий архитектор придумал: прорубить окна в земляном срезе. Эффектно, что тебе Голливуд! Сквозь стекло было видно: больше взрывов нет, есть только сплошная стена огня, быстро и жадно поедающего город за рекой. «Может, это все, и они больше не будут бомбить?» Я погладил женщину по стриженным жестким волосам. «Может, это не самолеты сбросили бомбы. А прилетели ракеты. Вероятнее всего, ударили из-за океана. Это ракета с ядерным зарядом».

Я смотрел в лицо женщины. Оно было красное, обожженное. Неужели можно так обжечься светом? Получить световой ожог?

«Из-за океана, — тоскливо сказала она, — все-таки ударили. Все-таки осмелились. Я думала, не осмелятся никогда». Я погладил ее по красной щеке, и она дернулась и отпрянула: ей было больно. «Как раз и осмелились. Они только об этом и мечтали». — «Почему они это сделали? Они на что-то обиделись? Обиделись на нас? Мы для них плохие?» Мне было тяжело говорить это и тяжело сознавать, что она это услышит, но я все-таки это сказал. «Ни плохие, ни хорошие. Никто не плох и не хорош. Дело не в этом. Просто это необходимость. У земли есть необходимость однажды умереть. Как у всякого человека».

Ее начало заметно трясти. Я пощупал ей лоб. У нее поднималась температура. «А долго я еще проживу, если я облучилась? — спросила она тоненьким детским голоском. — Долго мы все проживем?» Я нашел в себе наглость улыбнуться. «Ну мы же все себя враз не уьем. Слишком много надо заготовить крюков и веревок. Или слишком много таблеток». — «Зачем таблеток, — сказала она с горящими глазами, — можно подняться в лифте наверх, на самый верх, и броситься вниз!» — «А вы сможете так сделать?» — «Нет». — «И я не смогу». — «Значит, будем тихо умирать в муках?»

Кому-то стало плохо, кто-то уже лег на пол и стонал, а лекарств и правда ни у кого не было. Раскосая женщина порылась в сумочке. «Ничего нет у меня обезболивающего, только от сердца валидол», — сокрушенно покачала она головой. Лоб у нее тоже стал красным и шея тоже. Я прижал ее к себе. Она дрожала все сильнее. «Успокойтесь, — шептал я ей, — успокойтесь, успокойтесь. Все уже позади». — «Что позади? — Она отшатнулась от меня и вскинула на меня злые, степные смоляные глаза. — Все еще только начинается! Все муки!»

Люди подходили, подползали, подбредали к подземному окну. Мы видели, как по мосту через Оку бегут люди. Они бежали, как черные муравьи. Как мои, в моем подвале, бедные муравьи. Они бежали от огня, от радиации, от смерти, и они понимали, что не убегут, и бежали все равно.

«Нет, больше не ударят, — прозвучал хриплый голос рядом с нами, — все, закончился порох в пороховницах». Человек еще находил в себе мужество шутить. Мы видели, как за рекой, у самой кромки воды, упали два высотных дома, должно быть, от ударной волны. Из-под руин и обломков тоже выбирались люди; мы видели, как они тащили друг друга за руки, за ноги, как садились над кем-то бездыханным, может, уже мертвым, и плакали, уронив лицо в ладони.

Видели мы и тех, кто медленно, по спирали, поднимался по дороге, вьющейся меж холмов над Окой. Почему все были в черных одеждах? Почему в трауре? Нет, что-то у меня с глазами и верно творилось: не могли же все люди разом нарядиться в черное! Но люди в черном медленно и страшно шли, текли вверх, все вверх и вверх по серой ленте дороги, ни одной машины на дороге не было, только люди, они переступали будто ватными ногами, они, я видел это, заставляли себя идти.

Женщина сглотнула слюну. «Горло болит», — пожаловалась она мне, будто она была дочь, а я отец. Я положил ладонь ей на горло. Оно билось, там, внутри, билась живая жила, и у меня было чувство, что я охотник и поймал птицу, и сейчас должен свернуть ей горло и ощипать. «Вы что, экстрасенс, лечите наложением рук?» Она тоже пыталась шутить. «В каждом человеке есть энергия ци. И в вас. И во мне. Все искусство в том, чтобы правильно ее передать. Ци хорошо передается в любви. И если кто-то страдает, надо положить руку на больное место и стараться через ладонь направить в это место всю любовь, на какую ты способен». В улыбке дрожали ее губы. «И правда легче», — тихо сказала она. «Вы напоминаете мне мою жену, — сказал я, продолжая держать руку на ее нежной тонкой шее. — Только она пьяница. А вы нет». — «Да, я не пьяница. Мы с вами шутим. Это хороший признак. Это значит, мы еще живем. Как вы думаете, больше не будет взрывов? А может, мы выживем? А может, выживем?! Ну скажите!»

И тут, милый мой Юрочка, тут в большое окно мы увидели, как над городом и над рекой сгустился странный, плотный и рыжий туман, он играл то оранжевым, то красным светом, и в этом красном тумане прямо над нами из туч вынырнули самолеты. Странные это были, Юра, самолеты. Первый летел остроносый и слишком большой, величиной, быть может, с мост через Оку; за ним летела армада тупорылых, кургузых самолетов, они были похожи на толстых крокодилов — широкие толстые морды, маленькие, как лапы, крылья. Слишком поздно мы услышали гул, и он забил, заклеил нам уши. «Обречены!» — взвился над нами всеми отчаянный женский крик. Я не знал, кто это крикнул, моя женщина или еще кто-нибудь. «Ложись!» — услышал я свой собственный рык, дернул за руку мою женщину, мы повалились на пол и закрыли затылки ладонями.

Почему человек, когда его хотят убить, все время защищает голову? Почему он ложится ничком и отчаянно, изо всех сил закрывает свою бедную голову, обнимает ее потными от страха руками? Именно головой человек надумал, придумал себе всеобщую смерть. Именно головой, ничем иным.

Ты спросишь, что же было потом? Сыночек, потом раздался грохот, потом налетел жар, потом настала тьма.

Спросишь, почему же я оказался опять в моем подвале? Как я туда дошел? Как добрался, ослепший, обожженный? Значит, зрение ко мне вернулось, и не так уж сильно я был обожжен. Я не помню, милый, как я добрался до подвала. Помню только ужас, когда я видел, что вокруг, кроме пепла и руин, ничего нет. Я шел по мертвому городу, обмотанный старым резиновым дождевиком, плащом Борьки Хвостенко. Где Борька, я не знаю. Многие умерли. Я вот жив. Я дошел до подвала почти на ощупь. Память тоже может двигаться и идти вперед, не только ноги. Память вела и привела меня к себе.

Дерянного верха моего дома не было, он сгорел. Я хотел спуститься по лестнице, она была цела. Не удержался на ногах, упал и покотился. Считал ступени ребрами. Открывал дверь, сидя на корточках, так я был слаб. Я надыхался

гарью, и когда вдыхал воздух, легкие схватывало пронзительной болью. Я подумал: надо покурить. С трудом встал и нашарил на полке пачку сигарет. Счастье, у меня еще были сигареты. А может, и кофе? Я потряс кофейной банкой. В банке зашуршало. Да, есть и кофе. Все есть для счастья. Даже немного жизни.

Я закурил, а форточку уже открыть было нельзя. Я не хотел впускать сюда радиацию. Ничего, буду дышать табаком, сказал я себе, табак, он убьет радиацию. Водка и табак ее убивают.

Но водки, сынок, у меня, увы, не было. Была, года или века назад; да ее выпили чужие люди.

Знаете, а я преступник.

Только не ахайте, не охайте. Я вам все расскажу. Поймите меня правильно. Да вы не поймете, я знаю. Я сам себя не понимаю и не оправдываю. Так получилось. Меня должны были судить люди, но они меня не судили. Я улизнул от людского правосудия. Это верно? Неверно?

Почему все самые страшные и важные дела на земле происходят ночью?

Я ехал в одну семью, они жили в заречной части города, за грязной Окой. Я долго ехал к ним на трамвае, трамвай гремел, подпрыгивал и тарыхтел, я, пока ехал, отбил себе все кости. Эти люди, там, за рекой, позвали меня к себе, потому что им сказали, будто я обладаю чем-то таким, ну, силой, что ли. Что я такой особенный человек, и ко мне достаточно прикоснуться, и из меня больному перельется сила. Я в телефон сказал строго неизвестному голосу: не кошунствуйте, такой силой обладают только боги, а я не Бог. Ну все равно приезжайте, взмолился голос, у нас мальчик от роду бесится, мы уже замучились, устали как псы, и в психушке его держали, и к знахарям водили, и священника на отчитку приглашали, все без толку. Может, вы поможете? Я не мог отказать и поперся.

Обнаружил мальчика и правда бесноватого. В квартире вся мебель на шкафах лежит. Матрацы, одеяла и подушки в шкафы спрятаны: иначе бесенок их разрежет, растерзает. Родители слепо ходят по пустому дому, как загробные тени. «У жены уже даже нет сил плакать, она все слезы выплакала», — угрюмо сказал мне мужчина. Мальчик резво подбежал ко мне и первым делом ударил меня кулаком, крепко, зло, в живот. Я даже согнулся от боли. Ну не драться же с ребенком! Я сел на пол и позвал мальчонку к себе: «Поди сюда! Сядь на пол рядом со мной!» Он воззрился на меня: так никто и никогда с ним не говорил, и на пол его родня, упаси Боже, никогда не садилась. Осторожно подошел, сел. Лоб надут, как пузырь, глаза запали глубоко внутрь черепа. О чем он думал? Что он чувствовал? Так же, как мы, или иначе?

Я долго, весь вечер, говорил с этим ребенком. Так, как говорил бы с сыном, но с сыном я так никогда не говорил. Почему мы можем помочь чужому, а на своего плюем? Я весь выдохся после такого разговора, а мальчик приутих, примолк. В маленьких глазках, глубоко, зажегся свет. Робкий, слабый. Еле тлел. Но я знал: он разгорится.

Я еще говорил, когда одержимый бесом ребенок вдруг лег на пол, подложил ладони под щеку и уснул.

Родители совали мне деньги. Я не взял. Тогда они сунули мне курицу гриль, еще теплую, в фольге, и большой ананас: вроде как гостинец. Еду я взял и поблагодарил добрых людей. Я сказал им: «Молитесь за него. Он поправится. Пусть он спит сколько угодно: день, два, три. Ему это сейчас очень надо. Он отдыхает от ужаса».

Курицу сунул в один карман пальто, ананас в другой. Карманы раздулись, как опухоли.

Был поздний час, трамваи уже не ходили, автобусы тоже, и я быстро сообразил: придется идти пешком через весь район к реке, потом переходить Оку по мосту,

а от моста до меня недалеко останется, лишь на гору подняться. Однако час протопаю, не меньше.

Иду, бреду, грею голые руки дыханием. В новых домах окна еще горят; в старинных чернеют, отсвечивают темным зеркальным серебром. Дома наблюдают за мной, как я иду. Маленький человек. Большой город. Все спят, один муравей не спит. Тащит за спиной свое страдание. Или радость?

Вот подошел я к мосту и вот уже иду по нему. Хватаюсь за чугун перил; ладонь испачкал в пыли. Сколько машин тут днем плюются бензинным удушливым дымом! Ока уже схвачена первым ледком. Почему у нас в России всегда поздняя осень? Даже если это и лето, и весна, и зима. Все равно это поздняя осень. Грязная вода закручивается в темные спирали, если нагнуться над перилами моста, стекло соленого льда отразит твое растерянное лицо.

Ну я и нагнулся. А потом выпрямился.

И оглянулся.

Оглянулся на то, что видеть нельзя.

И это была Ночь Преступления.

Белизна тела светилась сквозь разодранные тряпки. Полуголая женщина карабкалась и боролась, она сопротивлялась неистово, но видно было, что ее уже безжалостно потрепали, а может, и покалечили. Она волочила одну ногу. А может, она такая от роду, хромоножка? Я не думал тогда об этом. За меня это все думал Тот, Кто летел над нами в ту холодную, с ледяным ветром, ночь и привел меня на этот мост, для того, чтобы я сделал свое дело. Люди, что били и минуту назад насильовали эту женщину, молчали. Они дышали и рычали. Как звери. Кто в приспущенных штанах, кто с голым животом. Блеснул нож. Блеснул лед под быками моста. Я бежал и орал: «Э-ге-гей! Васька, Фимка, Родька! Ко мне! Тут бабу бьют! Ребята! Быстрее!» Засунул в рот пальцы и оглушительно свистнул. Рассуждать и бояться было уже некогда.

Двое сорвались с места и припустили прочь. Один остался. Он не был намерен отпускать жертву. Тащил ее за собой и наконец заговорил: люто заругался. Мне даже показалось, у него от скверны дымитесь рот. Я подбежал, он пнул меня в пах. И удачно попал. Я взвыл и озверел. Мужик размахнулся и вмазал бабе кулаком по лицу, изо рта у нее потекла кровь, он выбил ей зуб. Потом он схватил ее за волосы и так, за волосы, потащил за собой по мосту. Я света не взвидел. Я обнаружил, что тоже могу гневаться и даже впасть в бешенство. Это я-то, тихий и благостный! Просветленный Мицкевич, блин! Черная, с солью льда, Ока текла под нами, а мы плясали, бедные черти, на мосту, у чугунных перил, и я думал тоже недолго: шаг, другой к мужику, а он, обхватив женщину, как кота, поперек живота, уже переваливал ее через перила, и уже толкал в пустоту, и уже разжимал руки.

Я успел. Я подхватил несчастную бабу, когда она уже валилась в реку. Она оказалась на диво легонькая, сухая как воблочка, почти невесомая, на ней мотались лишь разодранная на клочки исподняя рубаха и на щиколотках — рваные колготы. Я ловко вытащил ее из-за перил, уронил на холодный мокрый чугун моста и даже, кажется, толкнул ногой, чтобы она сообразила и откатилась подальше. А мужик время не терял: именно в это время он прыгнул на меня. Он хотел убить ее. Не вышло. Теперь он хотел убить меня.

Я облапил его. Ломал его. Мое счастье, он был без ножа! Нож валялся рядом с нами, но мужик не видел его. Я понимал, что я сильнее. Мышцы мои обратились

в камень. Вот тебе, мирный святой Мицкевич, и вся философия жизни! Кто кого! Мужик изловчился, схватил меня за шею, пригнул мою голову к перилам и сильно стукнул ею о чугун. Он хотел размозжить мне башку. Все поплыло, я поплыл по черному воздуху, по течению реки, мне уже казалось, холодная вода обнимает мне руки и ноги. Истошный визг распорол ночь. Женщина кричала. Она кричала так невыносимо, так отчаянно и взахлеб, что я очнулся и устранился: а вдруг она вся превратится в крик, и ее не станет?

Этот крик вернул меня в реальность и придал мне сил. По лицу моему текло теплое. Я понял, это кровь. Она затекла мне в глаза и текла по щекам за воротник моего старенького пальтеца. Я животом прижал негодя к перилам. Он вырывался, верещал. Хрипел. Я нагибал его ниже, все ниже над черным чугунным узором. Подвел ногу под его согнутые колени и резко дернул свое колено вверх. Он стал заваливаться назад, его голова и торс повисли над рекой. Я уже не помнил, что я делал; мне было важно это сделать, и я это делал. Еще усилие. Еще хрип, сдавленный вой. Он пытался вцепиться мне в шею, но я из последних сил опрокинул его назад, еще назад, еще и всем собою столкнул в кипящую лютым холодом и льдом, черную воду.

Он падал долго. Высота старого моста через Оку сорок метров. Эти сорок метров он преодолевал, жутко крича, махая руками, вздергивая ноги выше головы. Мне казалось, он летит в черных облаках. Падал он долго, а когда врезался в воду, показалось, что упал быстро. Там, внизу, в черной реке, живое еще ворочалось и плескалось. Дергало плотью. Живое не хотело умирать. Это я умертвил его. Я, безоружный дурак.

Я обернулся к спасенной бабенке. Она сидела, скрючившись, возле чугунных мочучих узоров и дрожала. Обхватила себя за колени. Стыдилась своего голого, в крови, тела. Я подошел ближе. Она стучала зубами. «Не прикасайтесь!» — крикнула она дико. Я выставил вперед ладони. «Я вас не трону. Я вас спас. Вы здесь замерзнете. Где вы живете?» Она ничего не могла мне ответить. Она не могла говорить. Я смотрел на черную реку. Далеко внизу бурлили водовороты. В мертвенном свете фонарей искрилась белая тонкая платина льда возле грязных кустов берега, обнимала быки моста. «Я убил человека, — сказал я. — Я должен пойти и заявить на себя в полицию». Полуголая женщина завопила: «Нет! Нет! Ни в коем случае! Не ходите в полицию! Нет! Прошу вас!» Она вскочила, она вся тряслась от холода и ужаса, и я сдернул с себя пальто и укутал ее.

Делать нам обоим было нечего. Мы оба пошли ко мне в подвал. Я вскипятил чаю, напоил ее горячим чаем. У меня уже не было знатных чаев с бутонами роз, я заварил обычный, скучный чай «Принцесса Нури». Мы ели холодную овсяную кашу. Для красоты я посыпал кашу сахарным песком. У нас руки дрожали. Все-таки это непросто, убить человека. Это вам так кажется, что просто. Чик, и нету. И вместо человека мясо с потрохами. В один прекрасный момент я все это вспомнил, как бандит падал в реку и орал, отставил чашку и еле успел выбежать на улицу. Меня мощно рвало в сугроб, и две окрестные ночные собаки подошли и грустно глядели, как я это делаю: хриплю, плююсь, ругаюсь, вытираю ладонью лицо.

Я умылся снегом и вернулся обратно. Женщина сидела за моим грязным столом в моем старом пальто и грела руки о чашку. Женской одежды у меня, понятно, не водилось, и я нарядил ее во все свое: в мужские трико, в мужскую рубаху. Она закатала рукава рубахи, и у меня в сердце кольнуло: я вспомнил мою жену Верочку, и кришнайтку Лену, и ту мою любовь в поезде, бесшабашную худенькую проводницу в пилотке набекрень. Они тоже любили носить мои рубахи. Все три любили. Любили они меня? Я не знаю. Но что я их любил, это точно.

Я постелил женщине на своем самодельном топчане, извинился за грязное белье, накрыл ее поверх одеяла теплым зимним тулупом. Она все тряслась и вздрагивала, обхватила себя под одеялом за колени и плакала с закрытыми глазами. Я сел в кресло и стал медитировать. Я легко мог спать сидя. Мои муравьи сновали в муравейнике, исполняли свою вечную работу.

Наутро женщина ушла. Я занял денег у соседей и посадил ее в такси. Она шла к машине и слегка прихрамывала, и я галантно поддерживал ее под локоть. Когда она уехала, я стал мучиться. Мне то и дело хотелось пойти и повиниться. Чтобы люди узнали, что я убийца? Нет. Чтобы перед людьми обелиться, очиститься, что вот я, дескать, убил одного человека, защищая другого? Нет. Чтобы меня обвинили во всем, меня одного, и засудили, и осудили? Нет. Я не этого хотел. Можно сказать, я всего этого совсем не хотел. А чего же я тогда хотел?

Мне трудно об этом сказать, почему я рвался обнаружить то, что я убийца. Может, для того, чтобы избавиться от обмана? Чтобы опять уравнились весы, которые дрогнули? Я убил, да. Но я и спас. Я и женщина, мы оба это знаем. Но люди будут знать только то, что я спас. А то, что я убил, не узнает никто. И здесь есть обман. Есть грех. Так вот что такое грех, оказывается, это когда тебе все время больно и боль не кончается, а только усиливается. Она растет с каждым днем.

Эта женщина пришла ко мне однажды. Я сидел у раскрытой форточки и курил. Я не закрывал дверь в свою обитель — заходи всякий, и зверь и человек, тебе всегда найдется чашка чая. За дверью заскреблось, я подумал, это мышь, и тут дверь открылась, и вошла эта бабенка. Она, понятно, была уже во всем женском и очень даже недурно сложена, в моем вкусе: худенькая, как девочка, глаза большие. В тот вечер она сильнее припадала на свою больную ногу. Она держала сумку и смущенно прижимала ее к груди. Я сам смутился. «Хотите чаю?» — «Ой, нет. Я ненадолго. Вы знаете, я вам гостинчик принесла. И еще, знаете, простынку и наволочки, они у вас грязные, а так хоть немного на чистом поспите». Я тут совсем устыдился. Надо устроить большую стирку, таз же есть, и все постирать, и постирать белье, штаны, трусы, носки и самого себя. Женщина выложила из сумки на стол свертки с едой и белье и смутилась еще больше меня. Так мы стояли друг перед другом и смущались. А потом она собралась уходить. Я не держал ее. Я понял: ее не удержишь, не прельстишь ничем — ни чаем с призрачными розами, ни кофею, ни сигаретами, ни медом, ни молитвами, ни нежностями. Есть такие женщины; им самих себя достаточно, и они не любят, не хотят, чтобы их прельщали. Да и какой из меня прельститель? Она осталась жить на земле, а ее убийцу убил я. Все правильно. Все справедливо.

Я не спросил ее, где она живет. Не просят — не лезь, сказано же было той святой, тощей старухой. Я натянул наволочки на подушки, расстелил новую простыню, развернул свертки. В свертках оказались постная буженина; две баночки красной икры, и между ними вложена записка: «К НОВОМУ ГОДУ»; копченая горбуша; баночка тресковой печени; и в промасленной бумаге что-то такое горкой дыбилось, еще теплое, я разорвал бумаги — и на свет явился пухлый, темного теста, толстый яблочный пирог. И тут у меня горло захлестнуло петлей. Милое! Женское! Такое теплое, нежное! Я всего этого лишен. Взамен мне дано одиночество, и я его отработываю, как волокит за собой на горбу каторгу. В вечной каторге есть тоже сладость. Ее трудно понять, ощутить на вкус, положить на зуб. Но сейчас сладость обратилась в горечь. Я согнулся над всей этой любовно купленной снедью, над теплым яблочным пирогом и заплакал, и я захотел, чтобы женщина пришла еще раз. Все равно когда.

И она пришла.

Она пришла, увы, под хмельком.

Как я сразу же вспомнил Верочку! Верочку, красивую, бойкую, еще молоденькую, в теплой компании, глаза горят, грудь поднимается, с бутылкой в одной руке, с рюмкой в другой. Женщина с трудом переступила мой порог, подковыляла к столу. Вынула из-за пазухи початую бутылку и весело продирижировала ею в воздухе — точно так же, как махала когда-то моя бедная жена. Внутри мою чакру анахату обреченно обнял мрак. Снаружи я делал вид, что веселюсь, а на самом деле только и думал, как же упасти эту бабенку, хромоножку, от этого обычного и беспросветного водочного горя, только и жалел, бесконечно жалел ее.

«Выпьем?» — радостно, уже совсем не смущенно, а даже нагло спросила она и, не дожидаясь моего согласия, сама придвинула к себе на столе две пустые чашки, вытащила зубами пробку и живенько, щедро наполнила чашки вином. Запахло сладким. «Это кагор, — важно сказала женщина, подняв указательный палец, — церковное винишко. Так причастимся же, святой человек!» Она подняла за выгнутую ручку свою чашку, закрыла ею лицо и из-за чашки, как из-за маски, смотрела на меня. В ее сияющих, густо подкрашенных глазах плясало пламя. Я не понимал, откуда огонь. Потом сообразил: у меня же на столе горит свеча. Свеча стояла в консервной банке из-под кильки в томате и оплывала, ее за одинокую ногу обнимали сталагмиты воска и кольца засохшего лука, и пахло томатной пастой и рыбой. Свеча — вот в чем дело! Это все она. Она виновата. А так на самом деле у женщины глаза тусклые, и пальцы холодные, и ей надо от меня только одно: чтобы глотнуть в хорошей компании и уйти, вот и все.

Она все еще держала на весу чашку, заслоняя ею лицо. Делать было нечего. Я поднял свою чашку с вином и так же, как она, заслонил нос и губы, и только мои глаза видела она. Ее глаза смеялись, а мои чуть не плакали. Надо было скорее выпить. Мы сдвинули чашки, раздался тупой стук, мы выпили. Кагор дешевый, приторный, притворный, дамский. Поддельный: крашенная водичка. Даже виноградом не пахнет, а какой-то бытовой химией. В нашей жизни теперь почти все обман. Но мы-то, мы-то настоящие! Или она тоже — обман?

Она выпила всю чашку, до дна. Крякнула уткой, как мужик после шкалика. «Ты убийца», — радостно шепнула она, и схватила бутылку, и плеснула еще в чашки вина.

И мы снова подняли чашки и выпили.

Так мы быстро усидели всю бутылку. И мне захорошело.

Я уже весело рассматривал женщину. Она была не первой молодости. Осетрина не первой свежести. Ее спасало то, что она, худышка, издали выглядела вообще школьницей. Она соблазнительно облизывала грязный палец, откидывалась на спинку моего скрипучего шаткого стула, выпячивая тощую куриную грудку. Хлопала размалеванными веками. Женщина-вамп, да и только. За версту было видать шалаву с Московского вокзала. Я усмехнулся. Она поймала мою усмешку и надула губки: обиделась. Я нежно тронул ее за плечо: ну что ты! «Хулио Иглесиас, что в переводе значит: ну чё ты, Иглесиас, — сказал я весело, — ну чё ты, не обижайся. Я не над тобой смеюсь. Я над собой смеюсь». — «А над собой-то что?» — спросила она, и верхняя ее, ярко накрашенная губка, с едва видными усиками, оскорбленно дрожала. Я развел руками. «А то, что я глупец. Надо такую хорошенькую дамочку поцеловать, а я все медлю». — «Так что же ты медлишь?» — тут же с готовностью спросила она. «Я медлю потому, что в жизни нельзя спешить. Никогда». — «А может, ты просто импотент?» — фыркнула она, и алая накрашенная, блестящая губка опять задрожала, но уже в смехе.

Я встал, она тоже встала, ожидая, что тут-то я и обниму ее. На краю стола, среди чашек и невымытых ложек, лежала ветхая книга. Без начала и конца. Страницы были в начале вырваны, в конце сожжены. Я вместо того, чтобы обнять гостью, взял книгу в руки. Она перевела взгляд с моего лица на книгу. «Что это?» — «Книга». — «Я вижу! Не слепая!» — «И читать, думаю, умеешь». — «Ты смеешься!» — «Нет. Я серьезно. Знаешь, о чем тут написано?» — «Откуда мне знать!» — «О нас с тобой».

Я не соврал. Я открыл книгу наугад, и она открылась именно на том месте, на котором и нужно было, чтобы она открылась. Женщина внимательно следила за мной. Она как-то враз, быстро присмирела, и, хоть она была весела и пьяна, я видел: она охвачена сейчас сложным чувством, в котором, видать, смешались внимание, любопытство и настороженность. А еще смирение. А еще почитание, если не благоговение. Она никогда не испытывала таких чувств, шалавочка с вокзала, и она дивилась им и боялась их, и все глубже погружалась в них. А мои глаза уже жадно бегали по старинным строчкам. Я умел читать на церковном языке.

«Ядущим же им, прием Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяше учеником, и рече: приимите, ядите, сие есть Тело Мое. И прием чашу, хвалу воздав, даде им, глаголя: пейте от нея вси. Сия бо есть Кровь Моя, Новаго Завета, яже за многия изливаема, во оставление грехов. Глаголю же вам: яко не имам пити от ныне от сего плода лознаго, до дне того, егда и пию с вами ново во Царствии Отца Моего. И воспевше, изыдоша в гору Елеонску. Тогда глагола им Иисус: вси вы соблазнитесь о Мне в ночь сию», — читал я и чувствовал на себе ожог чужих глаз. Разве может быть чужим тебе человек, которого ты спас?

«Стоп, стоп, — пробормотала женщина, — какая-то абракадабра, черт, ничего не понимаю, чушь какая-то... что такое лозный плод?» — «Виноград», — ответил я и улыбнулся. «А почему кровь изливается, какая, к чертям, кровь?» Я сел на мой колченогий стул и положил книгу на колени, и погладил, как кота. «Потому что человек, который есть Бог, будет с тех пор проливать кровь и страдать за всех. За всех». — «Какой человек, какой Бог, про кого ты мне тут впариваешь?»

Она уже везла языком, тащила за голосом слова, как телегу. «Христос», — смиренно сказал я. Свеча горела и освещала пустую бутылку. Огонь отражался в черном стекле, плавал, как красный огонек внутри опала. Женщина взяла бутылку за горлышко и осторожно поставила на пол, и шепнула: «Так грамотно, на пол надо, иначе счастья не видать», — и криво улыбнулась.

Свеча горела и исчезала, как положено свече. Я хотел читать дальше — и вскинул глаза, и сошелся глазами с глазами этой женщины, что я спас на мосту. И опять увидел мост, и убийцу, и белые пластины льда под мостом, и мрачную воду реки. Мы как-то смогли пьяными глазами что-то такое сказать друг другу, что никакого чтения уже не надо было и разговоров тоже. Но языки плели свою вязь сами, без нашего приказа.

И при свече было легко говорить.

«А ты тут давно живешь?»

Она спросила это и покраснела, будто спросила что-то стыдное. Я обвел взглядом свою подземную келью. Низкий потолок, лампочка висит на шнуре, без абажура. Печь, горят и потрескивают дрова, чуть приоткрыта печная дверца, и сполохи огня ходят по стенам и по потолку, и кажется, что потолок накренился и стены медленно падают, наползают друг на друга и плывут. И весь подвал плывет, как плот. И мы посередине плота; провизия закончилась, вино выпито, вокруг черная река, и, может, до берега не доплывем.

«Давно. Не помню, когда здесь поселился».

«А кто тебя сюда затолкал? А?»

«Сам затолкался. Так захотел».

«А что у тебя... — Она глядела туда-сюда, хлопая густо накрашенными ресницами. — Так мебели мало? Пусто как-то у тебя!»

Я поглядел на свой стол, уставленный грязной посудой. Чашки, блюдца, тарелки, ложки. Я не всегда успевал их мыть. У меня из-под крана текла лютая, ледяная вода. Для мытья посуды надо было кипятить чайник. Поглядел на шкаф. За его крашеной под красное дерево фанерой валялись мои рубахи и портки, за стеклом спали книги. Немного книг. Я нашел их на помойке. И Евангелие тоже.

«Пустота — это высшая полнота». Я опять улыбнулся.

«Что ты все время скалишься! А? Веселый ты! Закурить есть?»

Я вытащил из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой; дал ей прикурить.

Закурил сам. Отворачивался, чтобы дым не летел на нее.

«Я не веселый. Улыбка — это не признак веселья. Это признак спокойствия. Ты спокоен, значит, ты свободен».

Женщина искала, где бы загасить окурок. Я пододвинул к ней ближе консервную банку с горящей свечой. Она ткнула окурком в застывшие потеки воска.

«Мудрено ты говоришь. Я тебя не понимаю. — Она глубоко и прерывисто вздохнула. Покачалась на стуле. Облокотилась на стол и подперла ладонью щеку. — Картинки вон у тебя везде понатыканы! Ты художник, что ли?»

Я кивнул. Следил, как горячий воск ползет вниз по свече.

«Понятно, — она облизнула красные губы. — Так тогда ты должен быть богатым и знаменитым, а не сидеть тут, как пес в конуре!»

Я шевельнул ногой, бутылка, спрятанная под стол, свалилась и откатилась в угол, к печке.

Осторожно положил святую книгу на край стола.

«Верно. Только эта судьба не для меня. Почему мир должен страдать, а ты один должен быть счастливым? Чем ты лучше мира?»

Тут ее лицо опечалилось. Она опустила голову, и я увидел: волосы у нее крашенные, как вся она, рыжие, а около пробора — белые. Седые.

«Ты прав, слушай, да. Мир-то и правда мучается. Болеет. Психом стал мир. Но нет на него психушки. — Она стала мелко дрожать. Может, так хмель выходил из нее. — Или раком он хворает. Скоро он загнется, а? Мир-то? Как считаешь?»

«Если врач опухоль не вырежет, загнется», — спокойно кивнул я.

Свеча неотвратимо таяла. Она еще горела, не гасла. Еще жил свет.

«А кто вырежет этот рак? А? Кто?! Нет такого хирурга! Ну хоть бы кто появился, закричал: эй вы, людишки, что творите! Друг друга взрываете! Детей убиваете! Стариков! Вот меня... чуть не ухлопали... ты спас... — Она поежилась, как на морозе. — А мир кто спасет? Нет на него такого спасителя! Нет!»

«Он есть, — тихо сказал я. Пламя свечи забило от моего дыхания. — Его звать Бог».

Она неожиданно разозлилась, взорвалась, аж заколыхалась вся. Грудь ее под черным гипюром колыхалась, как студень.

«Бог! Бог! — кричала она хрипло, пьяно. — Бог, Боженька! Снова Бог! Как будто, кроме Бога, и нет никакого другого выхода! Да не верю вот я в этого твоего Бога! Ну не верю, хоть режь меня! Разве Он мне помог хоть чуточку?! Разве Он спас меня, когда меня... в восемь лет... испоганили?! Вот, между прочим, там же, около этого проклятого моста... и тоже — осенью... первый снег выпал... Разве Он спас ребенка моего, дитенка, когда он, бедняжка, в жару метался, а у меня деньжищ не было, чтобы дорогое лекарство купить, и я пошла собой торговать, на вокзал этот чертов, и поторговала, и заработала, да, сунули мне эти распроклятые бумажки за то,

что я ноги ловко раздвинула... прихожу — а он уже мертвенький лежит... и носик заострился уже, посинел, и пальчики холодные... Так я пальчики эти как целовала! Каждый, каждый пальчик! Целую и шепчу: оживи, оживи... Господи, прошу, оживи моего мальчика... Целую, и вся ручонка у него мокрая и скользкая от моих слез стала... И что?! Бесполезно все. Нет Бога никакого! Не оживил! А как я молилась, слышал бы ты! Как я молилась!»

Я хотел утешить ее словами. Но смолчал. Только протянул руку и погладил ее по плечу, по жесткому гипюру. И она затихла. Ее лицо стало мокро, оно блестело в пламени свечи: она плакала.

«Поплачь, — шепнул я, — это правильные слезы».

«А слезы разве букварь? Таблица умножения?»

Огонь в печи. Огонь на столе. Два человека под землей. Никто о них не знает. Никто не знает обо мне, а может, я и есть спаситель мира. Все мы, если постараемся, можем спасти мир. Любой преступник. Любой подзаборник. Было бы желание. Да мы не хотим. Мы хотим взрывать, разрушать. Распад всегда удобнее. Разбить легче, чем собрать воедино, слепить, склеить. Ударить легче, чем обнять.

«Убить легче, чем родить», — сказал я вслух.

Она так и вскинулась.

«А! Я понял! Я все понял! — Она кричала так, как будто бежала, догоняла кого-то ускользящего, бегущего впереди, и задыхалась, и не могла догнать, и только крик один ей и оставался. — Мы все хотим легче жить! Наслаждаться! Мы не хотим тяжелее! Мы хотим откусывать большие куски и жевать вкусно, сладко! Мы не хотим трудиться! У нас тот, кто ворует, тот и богат! А тот, кто честен, тот жалок, слабенький тот, презирать его надо, именно за то, что он честный, что не рвет кусок из рук другого, изо рта! Таких — презирают! Они у нас, такие, немодные! У нас в моде успех! А успех, я знаю, да и ты тоже знаешь, да и все знают, построен на крови! На костях! Любое богатство, любая слава — на костях! На костях!»

Я вздохнул. Мне хотелось положить ей ладонь на губы, так она кричала.

«Так-таки любая слава на костях? А слава Бога?»

Она уже слизала всю краску со своих прежде алых губ. Дышала тяжело, с присвистом.

«Опять ты мне про Бога, заколебал уже...»

«Прости. Я не думал, что имя Бога на тебя так действует. Может, дьявол в тебе? Так давай мы его изгоним».

Я встал. Под моим пристальным взглядом послушно встала и она. Ее глаза пылали, как две черные свечи. Я взял консервную банку с горячей свечой, поднял огонь и приблизил его к ее лицу. Опустил свечу, так, что она подсвечивала лицо женщины; пламя моталось чуть ниже подбородка. Я видел все ее морщины, все впадинки и лицевые выступы. Скулы. Широкие, чуть татарские. Чуть раскосые глаза. Нос чуть вздернут. Тушь с намазанных ресниц потекла, от тепла и от слез, испачкала нарумяненные щеки. Матрешка вокзальная, суслик, бедняжка. Мать потеряла ребенка. Шлюха вкальвает, и ее работа ничем не позорнее любой другой. Или все-таки мерзопакостней, позорнее, грязнее, и надо ей долго говеть и поститься, а потом идти причащаться, не кагором в подвале нищего художника, а из золотой лжицы, из руки священника, что отпустил ей все грехи?

«Эй! Огонь жжет глаза... Я ослепну!»

«Не ослепнешь. Смотри на огонь».

И она послушно стала смотреть на огонь.

Что-то случилось с нами обоими. Свеча, уже почти съеденная огнем, все еще горела в моей руке, и женщина глядела на огонь, в самую сердцевину белого пламе-

ни. Я тоже глядел внутрь огня. В огонь, как на солнце, может, и правда глядеть нельзя. Душа начинает выворачиваться наизнанку, а зрение теряется, глаза слепнут, ты начинаешь видеть Третьим Глазом. Огонь освобождает Третий Глаз от налипшего на него века. От налипшего времени. Ото всех веков.

«Я вижу...» — прошептала женщина.

«Что видишь?»

И тут она, широко открытыми глазами глядя на огонь свечи, стала говорить, тихо и медленно. Я не могу вам дословно передать, что и как она говорила. Я точно не помню. Потому что я вроде как в нее переселился; я стал видеть вместе с ней, а не слышать ее. Голос ее, почти шепот, вился и плавал надо мной, и я даже не разобрал слов. А слышал только гул. Будто подземный. А вот видел хорошо. Мы видели вместе.

«Видю синеву. Воду большую. Это море. Прибой бьет в берег... в сушу. На суше дома. Они высокие и страшные... они как муравейники... и в них, внутри, бегают по лестницам люди, сидят у окон, распахивают двери... выскакивают на улицу, в снег и ветер... а кто-то, вижу, выпадает из окна и уже летит... Город, это огромный город. Сплошной камень. Каменные столбы движутся, налезает друг на друга. Дома смещаются и качаются. Вот-вот упадут. Может, это трясется земля? Я поднимаюсь... выше... мы поднимаемся! Я и вокруг меня люди. Но они какие-то бесплотные! Слишком легкие! Им легко лететь. А мне трудно. Я вижу... суша грозная, огромная, она выгибается подо мной. Горы — складками, будто смяли ткань... будто одежду неряшливо на пол кинули... это море застыло камнями... Пустыни... они жаркие, как сковородки... и по ним, далеко внизу, тоже бегают люди и орут что-то, отсюда, с высоты, не слышно... беззвучно кричат... Леса лежат колючей шкурой, дикой... это волка ободрали, освежевали... красное мясо собакам кинули...»

Она, говоря все это, взяла меня за руку. Ее пальцы обожгли меня холодом. Холод ударил мне в сердце, хотя я тоже, как и она, глядел на огонь.

«А это что... что это! Огонь нависает над сушей... вместо прибоа, вместо воды — огонь. Его нельзя остановить! Он льется, катится... и он вспыхивает там, сям... много огня рассыпано по земле... землю ест огонь, жадно жрет... волк ожил, и волк — это огонь... он стосковался по еде, земля — это для него дичь, он когтит ее, рвет зубами и лапами... огонь! Все, вся земля уже под ним! Вот это костер! Величиной... величиной... черт меня дернул!.. величиной с целую землю...»

И я это тоже видел.

Она стала дышать хрипло; ей трудно было говорить, половины слов я не понимал.

«Люди бегут прочь от огня... Люди хотят спастись. Огонь — это смерть. Огонь смеется над ними всеми. Над нами всеми! Его не избежать. От него не убежать! Люди скалят зубы... смеются или плачут?... они стреляют друг в друга. У них в руках оружие. Это война! Опять война! Снова война, война, ты слышишь!»

Я не только слышал. Я видел.

Под нами, летящими, вздымалась и рушилась вниз суша. Громадные пласты земли. Они топорщились костистыми хребтами и рассыпались на мелкий песок, на кристаллы кварца и куски мрачного угля. Из пучины поднимались земные слои, вспучивались круглой костяной лысиной, блеском лунного черепа. Черный дым полз над идущей волнами, бешено танцующей землей, то рассеивался, то сгущался. Дым заволакивал широкие поля, где сшибалось в схватке железо. Оно плевалось огнем. Огонь ударял в дома, в горы и в деревья, и они тут же становились огнем; я видел, как в огне мгновенно сгорали люди. Минуту назад человек, теперь пламя. Суша менялась местами с морем. Суша восставала на море, а море рьяно катилось на человека, чтобы подмять его под себя, чтобы и следа его не осталось.

«Люди... что вы творите... Не убивайте друг друга! Не убивайте! Не убивайте!»

Я перевел взгляд с пламени свечи на лицо женщины. Я изумился: вместо ее лица на меня катилась из мрака земля. Круглое лицо земли, гигантский выгиб каменного лба, мощные скулы горных отрогов, увалы щек, скала подбородка. Земля дышала такой мощью, что трудно было поверить в то, что она сейчас погибнет. Она так дышала жизнью! Она дарила жизнь, отдавала, она раскрыла губы и дышала вином, хмельной жизнью на меня, в меня. Я хотел обнимать, целовать эту пьяную, бедную жизнь. Последнюю мою жизнь! И я не мог! Потому что она была вся в огне, она горела и умирала, она катилась в никуда!

«Провались все на свете... не убивайте!»

Если она, пьяная, была земля, тогда кто же такой был я?

Я жадно ловил запах кагора из ее приоткрытых губ. Я все еще держал свечу, уже полумертвую. Прозрачный сладкий воск растекался по жестяному дну банки.

По скулам земли катились слезы. Моря. Ручьи. Реки. Водопады. Старицы. Протоки. Ключи.

«Это все ислам. Ислам проклятый. Это все он! Они хотели всемирную войну... и они ее развязали. Без нее что, не обойтись?! Я не хочу! Слышишь! Я не хочу, чтобы все так закончилось! Не хочу! Не хочу! Это они, они, проклятые мусульмане! Восток проклятый! Развязали все-таки! Захлестнули все огнем!»

Я поднял руку, чтобы положить ладонь ей на жаркие сухие губы. Ей, земле.

«Ты не права. Это не мусульмане. Аллах велик. Он добр. Это люди Его сделали злым ненавистником. Это все люди! Это люди извращают Бога. Приклеивают к Нему свои грешные руки, ноги. Его именем сжигают и вешают. Его именем, слышишь!»

Она не слышала.

«Кто вас защитит? Кто вас защитит, бедные, родные мои?! Вы ведь все сейчас горите! И сгорите! Огонь, у него жалости нет! Он без жалости! Без милости! Он есть — вас нет! Люди, нас всех нет! Уже нет! А ты: книжка, святая книжка, Бог святой, примите, едите, тело мое, кровь моя! Вранье это все! Ничего этого нет! Есть только огонь! Последний огонь! Проклятие! Да будь же проклята ты, земля! Ты хрюшка, ты сожрала своих детей! Пощады тебе за это нет!»

Она, земля, проклинала сама себя. И это было слишком страшно.

Я не думал, что я такое в жизни услышу и увижу.

«Никогда никого не проклинай! Слышишь!»

Свеча мигнула раз, другой и погасла.

Настала тьма.

И в полнейшей тьме, крошечной, без единого огня, без отблеска уличных фонарей на крышке латунного чайника, без блика на грязном стекле, я услышал ее хриплый, нищий голос. Пьяный, трезвый, я не понимал. Я понимал одно: это говорит со мной земля, и в ее голосе сошлось все, по чему я тосковал и что приближал, что старался забыть и никогда не вспоминать и над чем трясся, как над куском золота или, может, хлеба, одинокий, всеми покинутый.

«Я прощаю всех, кто замучил меня. Я вас всех прощаю. Всех, кто бил меня и убивал меня. На мосту... под мостом... на рельсах, в подвалах, в сараях. На зимних улицах. В песках, под звездами. Меня все убивали, а меня ведь не убить. Огонь — это просто мое покрывало. Фата моя! Это я так, окутанная огнем, замуж выхожу! Огонь, он только сегодня смерть. Он только сегодня саван. Завтра меня завернут в огонь, как в пеленки. Я прощаю всех, кто не пощадил меня. Вы меня не пощадите, а я вас пощажу. Я полюблю вас заново. У меня на это есть силы. Есть еще у меня силы. У меня есть силы... на все!»

Она тяжело дышала и вот передохнула, замолчала.

Опять забормотала.

«Но ты... слушай, ты... ты не защищай мусульман... от них все сейчас началось... они меня под себя подгрести хотят... а ты их не слушай! Ты слушай меня. Ты ложись на меня, прижимайся ко мне животом... крепко... и слушай меня. И услышишь... как пойдут круги по воде... пойдут... все сохранится в этом мире, все... все останется в этой вселенной... все, все... даже то, чего мы сами не знаем... все останется!.. и я останусь, а они все думают — они меня сожгут... Да никогда! Да чтобы я сгорела?.. никогда в жизни! Потому что...»

Ее круглое мощное лицо с оттопыренной нижней губой, чуть светящееся старым серебром из мрака, метнулось, качнулось маятником ко мне, ближе, еще ближе, я почувствовал тепло кожи и запах пота и духов на ее каменном лбу, за ушами, на древесной шее. Жилы древних рек перевивали шею, скатывались за горы груди, земля дышала, она дышала тихо и мерно, она дышала, она еще жила.

«Меня никогда никому не убить... меня уже убивали много раз!.. я горела в огне много раз!.. и я — воскресала... Я — воскресала...»

Я приблизил к ней губы. Ловил губами ее грязный, вечный, нежный, смертный запах. Бессмертный.

И тут будто кто меня толкнул в спину. Все внутри затряслось. И губы мои задрожали, задергались. Я быстро опустился на колени. И, чуть задрвав подол ее пошлой гипюровой юбки, поцеловал ее колено, обтянутое тонким капроном.

Она тихо вскрикнула.

«Что это, ты спятил? Ты мою ногу целуешь! Вот ненормальный! Ну точно чудик! Ты знаешь, ты мне мою хромую ногу поцеловал!»

Моя земля тихо смеялась. Она уже смеялась.

Мне было не до смеха. Все внутри меня металось, боролось и вспыхивало. Внутри меня шел бой. Я сам в себе, в потрохах своих, носил смерть и внезапно обреченно, страшно понял: я мужчина, и я носитель смерти, а она, земля, носитель жизни, и война-то идет на деле меж нами двоими, а только потом перекидывается на всех, на огромные поля, горы и моря, деревни и города. Мы воюем! Мы убиваем друг друга! Мужик-смерть, баба-жизнь. А может, я просто схожу с ума, и я пьян, и надо... что надо? Выспаться? Захотеть? Закурить?

«Я не спятил, — сказал я тихо. Так тихо шевелятся водоросли под водой. — Я не тебя поцеловал. Я через тебя — всех женщин поцеловал. Всех матерей. Всю землю. Земля, она мать. Сколько бы ее ни убивали, сколько бы ни насиловали, ни измывались над ней, а она все жива и сильна. И она еще родит. Еще...»

«Я уже не рожу! Куда мне! Стара!» — крикнула она, и лицо ее страдальчески покривилось.

Я уже различал во тьме слезный блеск ее глаз и свет, идущий от зашторенных подвальных окон.

«Я не только о младенце говорю. Ты — любовь родишь! В яме ненависти...»

Ее лицо сморщилось.

«Ты дурак! Ты мне такие высокие слова говоришь. А я — кто? Я подзаборница! Просто ты меня спас, и я хотела тебе спасибо сказать! А может... может... мне не спасибо тебе надо говорить! А проклясть тебя, послать куда подальше! Может, ты меня на новые муки спас! И лучше бы меня убили! Сбросили в реку! И делу конец!»

Она все больше становилась опять женщиной, приبلудной бабенкой, человеком, шалавой с вокзала. Все сильнее от нее снова пахло вином.

Я все еще стоял на коленях, будто молился ей.

«Это грех, так думать».

«Думать! Видишь ли ты! А жить так не грех?! А я так живу! И буду так жить! Пока не содохну!»

«А ты, — внезапно спросил я ее, — в церковь ходишь?»

«Чего я там забыла!»

«И после смерти... смерти ребенка... не ходила? За его душеньку не молилась?»

«Да нет же! Нет!»

И вдруг она умолкла. И опять огромной волной накатывало молчание, погребая под собой все ненужное и мусорное, все сиюминутное. Из-под воды веков светилось вечное: свечной погасший огарок, разрезанный лук на тарелке, бок чайника, корешок книги с вытисненной, позолоченной надписью: «СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ».

И в этом вечном молчании я опять увидел, как медленно крутится земля. Земля ее лица. Она поворачивалась то боком, то затылком, то зрячими глазами, видя насквозь, исследуя, лаская, запоминая, благословляя. Она катилась молча, во мраке, и светилась изнутри, и я тихо и медленно обнял ее колени и прижался лицом, щекой к ее ногам, к ее теплым коленям и бедрам. А потом повел лицом выше, выше и уткнулся носом ей в живот. Как ребенок. И почувал себя ее ребенком; внутри нее, у нее в животе; и вот я скоро должен родиться; и вот я родился, и я целую ноги, грудь, живот своей матери. И я кричу, надрывая глотку в отчаянии, в радости. От ужаса жить. От счастья жить.

Сынок мой, Юрочка, родной мой!

Мы так недавно еще были. Мы так недавно еще жили в таком шатком и зыбком мире, мы все прекрасно понимали его шаткость и зыбкость, и мы глядели, кто через лупу, кто в микроскоп, кто в бинокль, кто невооруженным глазом, на него, рассматривали рытвины, оспины и вмятины на его уродливом лице, на его железных и земляных боках.

Ты знаешь, Юра, ты не зря начал убивать и насиловать. Вы, наши дети, дети хороших родителей, сейчас многие вот такие. Мы воспитывали вас в любви и согласии, втемяшивали в ваши головенки, что мир изначально добр и светел, а вы во все зубы, во всю пасть хохотали над нами, ржали как бешеные кони, показывали на нас пальцами: эх вы, несчастные старые шнурки, вы даже не представляете, насколько мир темен и страшен! И человек тоже темен и страшен, он брат ужасного мира, они близнецы-братья. Сиамские близнецы! Попробуй ты, дурак родитель, нас разруби! Вы родили нас в мир, совершенно не подозревая, что мы станем армией мира. Его священным воинством. А что делает воинство, а? Правильно, воюет.

И вот вы все стали воевать.

Вы все воюете, и даже сейчас, когда и воевать-то, считай, не с кем.

Кто грабит и убивает на улице, в подворотне. Это его личная война. Кто столпился под знаменами: черными, красными, да все равно какими. И подчиняется приказу вождя. Равнение на трибуну, подобрать животы, подобрать слюни! Кто кричит: я один армия! — и идет в последний, безумный бой, с голыми руками на врага. Кто собирается в отряды и колонны, и сапоги разношены, и гимнастерки облохматились, а поди ж ты, прут вперед, валом валят, и нипочем им ни бомба, внутри которой всеобщая смерть, ни рев самолетов, ни черные тени смертоносных подводных лодок. Моя армия! Вот, сынок, какая у меня армия? Пойду ли я воевать? Ведь война-то уже закончилась.

Быстро же она прошла, эта последняя война. Раз — и нету.

Я, сам себе генерал и сам себе армия, беспомощно оглядываюсь назад. Оглядываю то, что еще вчера было моей землей, а значит, моим родным домом. Мы до войны не осознавали, что вся земля была нашим домом. Мы хищно делили ее, разрезали на куски, наваливались на эти отрезанные куски животами, подгребая-

ли землю под себя: мне! мое! не троны! Оглянулся я, стоя по щиколотку в серой пыли собственной смерти, на краю собственной могилы, и что же я вижу?

Я вижу, как мы готовили эту войну. Как бесились, вопя это вечное: мне! мое!

Я вижу арабский песчаный мир. Людей с лоснящимися, потными на жаре лицами. Крупный пот течет по лбам и щекам, он течет, как слезы. Но люди смеются. Они владеют нефтью, а значит, допущены к богатым сундукам мира, к его деньгам и золоту. Еще больше денег! Еще больше золота! Ведь деньгам и золоту предела нет. Но я вижу иное торжество на потных лицах. Это не отблеск золота. Это торжество веры. Вера — вот что изнутри греет сердца, сжигает черную пустоту под ребрами. За веру легко умереть. Так считают мусульмане.

А как считают христиане? Когда-то давно, за тысячу лет до нас и через тысячу лет после Распятия, они пошли по дорогам Европы на Восток. К сарацинам. В Иерусалим. Изгнать мусульман из земли Христа. Три века воевали они, и у них ничего не получилось. Но шли и шли они, плыли на кораблях в Святую Землю и были полны решимости убивать, проливать черную исламскую кровь. Вера во Христа была тогда еще молодая, и она горела и пылала, а теперь она дымит, дымят и чихают старые дрова. А ислам поднял голову: он молодой, ему еще только тысяча лет, и он, заводной апельсин, полный злобы и огня, намерен воевать, победить весь мир.

И это совсем другой ислам. Не тот, ради которого ходят в мечеть, надев лучшие одежды, сгибаются в поклонах на коленях, съезживаясь, как плод в утробе, и режут барана в Курбан-байрам. Другой.

Новый Ислам кричит: я тебя казню, я твой владыка и палач, мне позволяет это Аллах! Я казню не только тебя, но и всех твоих братьев, все твои города и села, весь твой народ! Я вырежу твой народ, сожгу его, от него ничего не останется ни на твоей земле, ни в широком мире. Он кричит: я разрушу твои святыни, взорву твои памятники и кремли, взорву оркестры, что играют твою музыку, фрески на стенах твоих храмов! Сами храмы твои в пепел превращу! А потом, ухмыляется он, ты ляжешь под меня. Как? Очень просто! Ты примешь меня! Тебе просто ничего не остается делать!

И ты, прежде иноверец, станешь мусульманином, чтобы жить. Чтобы тебе не отрезали башку, ты припадешь к стопам имама. Ты отправишься в Мекку на хадж, и тебе всунут в руку нож, и ты сожмешь его, и взмахнешь им, и сначала зарежешь барана на праздник, а потом человека, тоже к праздничному столу. Для Нового халифата праздник — новые трупы неверных! И мне, Новому Исламу, все равно, кто эти мертвецы: старики ли, женщины, юноши, дети. Дети — это даже хорошо. Отлично! Молоденькие цыплята самые вкусные, их хорошо, правильно подать к столу Аллаха.

И от нас никто живым не уйдет, так вопит Новый Ислам и размахивает черным знаменем. Если ты изменишь мне, предашь, захочешь убежать, тебя настигнут. Тебя казнят! Я тебя казню, сам. Расстреляю или горло тебе перережу, неважно! А потом рассеку кинжалом или топором, тоже неважно, твою грудь, и выну твоё теплое сердце, и буду живьем грызть, жрать его, и мой дикий горячий обед мои друзья, хохоча, умирая от смеха, будут снимать на камеру, а завтра вывешат в Сети — веселитесь, люди, глядите и понимайте, за кем сила!

Он вопит, у него глотка луженая, голосовые связки из проволоки. Вопит, надрывается, скалит зубы.

Сынок, я слышал этот крик. Все мы слышали эти крики. Кто из нас и что сделал, чтобы остановить зло? Мы все покорно, как бараны, ждали, когда нас резать придет.

Нефть лилась черной кровью. Людская кровь от нее не отставала. Правители всяких разных стран гневались и метали молнии с высоких трибун, а сойдя с них и прикрыв глаза ладонью, подписывали бумаги, чтобы купить у Нового халифата нефть и наркотики, продать ему оружие, продать яды и снаряды. А потом

нашелся толстый владыка, что, тайком погладив под рубахой нательный крест, продал халифу ядерную бомбу: ни за понюх табаку.

Новый Ислам заполучил всеобщую смерть и осмотрелся. Кто враги? Они рядом. Кусочки лоскутного одеяла Земли, их надо быстро выпороть, бросить в костер, сжечь. Ветхая ткань! Запад с его поддельной новизной! Ты гроша ломаного, нитки гнилой не стоишь перед законами сурового шариата. Мы взорвем твой разврат. Мы зальем твои zenки твоим же вином, а в твою глотку вошьем наш расплавленный свинец. Но и Восток не весь нам друг. Восток, обезьяна Запада, должен быть убит безжалостно. Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Йемен, считайте, вы уже трупы. Мы спляшем на ваших костях!

И сплясали.

Атлантида тоже была их врагом. Они подчинили Евразию, но по другую сторону Атлантики маячили обе Америки. А на севере тускло, призрачно мерцала чудовищная, огромная Россия — медведь, обросший замерзшей, в сосульках, густой шкурой, медведь, что в вечной берлоге своей сосет лапу и высасывает из нее нефть и газ, алмазы и сталь, сладкое вино и драгоценные меха. Богатая Россия! Враг и соблазн. Сильная, с чертовой железной кучей оружия, царицей с тремя подбородками сидящая на горах танков и зенитных пушек.

Это мы, сынок, мы одни могли бы противостоять Новому халифату. Только мы. Кто нас опередил?

Все получилось как получилось, знаешь, есть такая старая поговорка: пусть дорога сама о себе заботится. Мы ее повторяли-повторяли, вот дорога и позаботилась: встала дыбом. Земля встала дыбом, пошла на нас каменной волной. Войной на нас пошла.

Без объявления войны.

А зачем объявлять войну, если ее исход уже предрешен?

А мы не нашли ничего лучшего, кроме как обнять колени свои и сжаться в комок. Мы скорчились на земле, на этажах падающих зданий, в сырых подвалах, на дне лодок и в трюмах кораблей, легли на животы и закрыли ладонями затылки.

Мы понимали, что мы умираем, и мы делали вид, что так спасемся.

Юрочка! Я так тоскую по тебе! Почему-то именно по тебе, милый мой сынок. Софочка и ее дети, мои внуки, я не знаю, что с ними. На всякий случай я молюсь за их упокой. Верочка лежит рядом со мной. Она стала уже совсем лысая и уже не открывает глаз. А может, это мне только кажется, что она тут, в подвале, лежит: иногда я оглянусь, а ее нет, тогда я пугаюсь и молюсь, чтобы Господь вернул мне или зрение, или разум, или то и другое вместе. Когда мне возвращают мою жену, я медленно подхожу к ней и подолгу смотрю на ее лицо. Оно обожжено. Ожоги затянулись молодой, уродливой красной кожей. Ресниц на воспаленных веках нет. Вместо губ длинная щель. Иногда она облизывает края щели сухим синим языком. Я не могу на это смотреть. Отворачиваюсь и плачу.

От вечных слез у меня вместо глаз стали две мокрые ямы. Я вижу все хуже. Спросишь меня, что я вижу впереди? Завтра? А ничего. Я там, сынок, не вижу ничего.

Они мне прислали денег на дорогу. Буряты, что завалились ко мне в подвал когда-то, давным-давно.

Что значит давно? Что значит вчера? Этого мне не понять и никому не понять. Иногда давным-давно значит вообще не вчера и даже не завтра. Времени нет, я же вам говорю. Я не Нострадамий, но я его родной брат. Он был бы рад мне, я знаю.

Буряты, что ночевали у меня вчера или давным-давно, внезапно появились в виде маленькой бумажки, почтового перевода, там стояли цифры, они обозначали деньги. Я не удивился: я приучил себя ничему не удивляться. Рассмотрел цифры, прочитал надпись на обороте извещения и все понял. Они приглашали меня; так своеобразно, оригинально они благодарили меня, нищего, за гостеприимство.

Я пошел на вокзал, смиренно взял билет и поехал в плацкартном, грязном и холодном вагоне в Улан-Удэ.

И пока ехал, а ехать надо было четверо суток, вспоминал, как я работал проводником. А теперь я еду пассажиром, и что? Где разница? Нет разницы. Между людьми нет разницы, и нет разницы между их чувствами; различаются лишь дела, земные дела придуманы Богом для удобства, чтобы всегда можно было указать пальцем: вот этот печет хлеб, а этот крадет деньги, а этот строит дома, а этот убивает детей. Все распределено. Преступник тоже думает, что он делает дело. Он говорит себе так: преступление — это мое дело, и больше ничье. Вы все не можете, а я могу.

Пока я ехал, я много чего передумал. Приходил проводник, спрашивал, что мне нужно, спрашивал, не дует ли в окно, не принести ли горячего чаю, и я смотрел ему в лицо, как в зеркало. Я узнавал себя. А он смотрел мне в глаза и меня не узнавал.

За окном вагона летели ветки и стволы, серебро берез и колючки сосен, тянулись провода, вспыхивали фонари. Ночью мы стояли на вокзалах больших городов, и я смотрел на старые каменные дворцы, они помнили, как этой же дорогой везли последнего царя: вот Екатеринбург, вот Тюмень, вот Омск. Синяя ночь обнимала молчаливый состав, остро посверкивал снег, на снегу в свете фонарей виднелись следы людей, зверей и машин. Все живое оставляет след. Но какой? Его глубина Богу не важна. Он видит любые следы. Даже те, что поутру развеивает ветер метельными вихрями.

Мне несли горячий чай с сахаром, и я пил его, громко хлюпая губами; мне несли свежую булочку, но булочка — это уже было дорого, я считал каждую дорожную копейку, и я всю дорогу размачивал в чае и жевал сухари, припасенные для долгого пути в матерчатом мешочке, жевал сухари и чмокал просто как настоящий заключенный, внезапно выпущенный на свободу по амнистии. Сухари царапали мои беззубые челюсти, я терпел боль и улыбался. Думая о прошлом, я иногда плакал. И внутри себя, и настоящими слезами. Они текли у меня по лицу и скатывались в усы. Где это, в каких это древних письменах сказано: кто никогда не ел своего хлеба со слезами, тот не жил на свете? Я знал, но забыл в каких.

Проехали Красноярск, я полюбовался на дымящийся на морозе, живой и бешеный, зеленый Енисей, он катился с грохотом и торжеством, стремительно, безумно, между скал, усыпанных снегом, как крупной солью; проехали Иркутск, я видел изумрудную Ангару, она зеленой змеей ползла меж мощных снегов, и видел старые и новые, как везде и всюду, дома, в них жили люди, не веря, что когда-нибудь умрут; проехали Слюдянку, огибая Байкал, и я смотрел на мертвые могучие снега, в их железной оправе лежал огромный самоцвет озера, самородок-изумруд, на берегу высились валуны, я перепутал их со спящими быками, а дальше колыхалась зелено-синяя вода, она попеременно становилась темной и прозрачной, и когда она становилась прозрачной, она вспыхивала изнутри: это ее освещали маленькие желтые рыбки, я понял, они светились, и их тела были тоже прозрачны, сквозь них можно было глядеть на мир и видеть его не злым, а золотым.

Почему рыбки светились изнутри? Как они назывались? Все на свете имеет имя. Попутчики мне сказали: извините, вы бредите, какие рыбки? А один попутчик тихо сказал: он говорит про рыбок-голомянок, они голые, без чешуи, и прозрачные, они состоят из жира и костей, когда глядишь на такую рыбку, видно ее бедный скелет и видно ее сердце, как оно бьется.

И я все вспомнил. И я все понял. Мы все, у кого внутри развита чакра анахата, такие вот, без чешуи. Без защиты. Мы бескожие, и видно, как бьются наши сердца. Издалека видать. Видно все, что у нас внутри, как ни скрывайся. Люди пользуются этим. Люди беззастенчиво обманывают нас. Издеваются над нами, смеются. Убива-

ют нас: они нам завидуют, тому, что мы, прозрачные, ничего не боимся. Они хотели бы, чтобы таких, как мы, совсем не было на свете. Потому что мы говорим подлецу, что он подлец, говорим хитрецу, что он хитрец. Мы любим того, кто ненавидит нас, а это ему обиднее всего.

Поэтому если одна вера идет войной на другую, это всего лишь зависть: одна религия завидует другой, что та, другая, возвысилась над борьбой и войной. Лучшая война — это лететь над схваткой. Тебя, сидящего в позе лотоса, могут убить, но тебя никогда не убьют, потому что тебя никогда не догонят. Не достигнут. Ты выше досягаемости.

Поезд чухал, трепыхался, стучал и пыхтел, мы проехали дымные черные пригороды, и вот впереди показались дома столицы Бурятии, славного города Улан-Удэ. Я глядел во все глаза. Будда тоже путешествовал, он ходил по дорогам мира! Иисус тоже ходил! И Магомет ходил, да, ходил! А то и трясся в арбе, в утлой повозке. На перроне стояли встречающие меня. Вот он, толстый Будда с золотой серьгой в ухе! Вот она, старая девочка, маленькая собачка до старости щенок, и так же седые волосики в косички заплетены, торчат из-под полосатой вязаной шапки! А вот и он, дылда в черном пальто и красном шарфе, усы поседели, глаза еще больше сощурились, ну Сталин и Сталин живой, только не приземистый, а рослый! Я вышел на перрон с пионерским рюкзаком за плечами. Я съел все сухари. Буряты обступили меня и стали тискать. Минут десять они обнимали и тормозили меня. Потом повели, и я шел за ними послушно; я чувствовал себя тибетским яком, ведомым собаками на пастбище.

Сначала меня поили и кормили в подвале, похожем на мой. Все подвалы мира, где люди жуют нищую еду, верят в разных богов и создают искусство, похожи друг на друга. Старая девочка настряпала бурятские позы, это такие кисеты из теста с мясом внутри, варенные на пару. Прекрасно! Вкуснота! Я ел и наслаждался. Мы пили китайскую змеиную водку, да, скажу я вам, это крепко и противно, но хорошо забирает. Там, внутри, в бутылке, и правда плавала дохлая маленькая змейка. Ее яд придал водке жесткость и остроту. Я почувствовал себя сильным батыром и даже расправил сутулые плечи. Потом все оделись, подхватили вещички, я тоже, и снова пошли по холодным улицам. Куда? Вот остановка, и вот автобус, и мы садимся и едем. Когда в замерзшем, с белым мхом инея, автобусном окне я увидел китайские крыши с завитушками, я догадался. Мы приехали в святое место.

«Выходи, Андрей, Иволгинский дацан, приехали», — сказал усатый Сталин и крепче обмотал вокруг шеи кровавый шарф. Мы прошли по тропе через красивые ворота, приблизились к дацану и вошли. «Сегодня Цаган-Сар, Андрей, тебе повезло, сегодня Сагаалган, наш Новый год, восьмое февраля, ты сегодня сможешь увидеть святого нетленного хамбо-ламу Итигэлова», — сказала старая девочка, по фамилии Могзоева, а как девочку звали, забыл. Жирный веселый Будда снял шапку и обнажил веселую лысину. «Видишь, какой большой монастырь? — весело сказал он. — Здесь много храмов. Целых десять. Но тебе ведь хочется увидеть вечно живущего? Поэтому мы привели тебя сначала сюда. А потом будем есть борцок. В Цаган-Сар всегда едят борцок. И сладости. Ты любишь сладкое?»

Я смотрел на статуи Будд около золоченых стен. Красные колонны, иконы по стенам, вышитые золотыми нитями ковры, в ряд стоят накрытые к пиршеству столы. Я попал на праздник Будды? И сейчас Он сам выйдет ко мне из-за своей нефритовой статуи? Я вскинул глаза, и по зрачкам мне резануло яркое золото. «Золотой Будда Очирдар, — зашептала старая девочка Могзоева, — поклонись ему!» Я, без зазрения совести, встал на колени, по-русски трехкратно перекрестился и поиндусски сложил руки на груди, как делал это в жизни тысячу раз, и сделал Очир-

дару намасте. На меня оглядывались. Подкатился настоятель в оранжевом плаще. Усатый Сталин кивнул на меня и тихо шепнул, вроде как извиняясь: «Иностранец!»

На помосте перед золотым Очирдаром горели светильники — так они горели и при Будде Шакьямуни; люди подходили и складывали туда дары, приношения, еду, драгоценности. Кому они их несли? Будде? Людям? А разве Будда и люди — не одно и то же? Разве на самом деле людей нет, и Будды нет, и меня уже нет, хотя я вот тут, в дацане, стою и мыслю? Я был всегда, и меня не было никогда. Все так просто. Я встал с колен. Девочка с седыми косичками поднялась на цыпочки: она хотела поближе заглянуть мне в глаза. «Тебе нравится тут?» — спросила она восторженно. Я не мог говорить от радости, только кивнул.

Все раскосые прихожане, как и я, складывали ладони на груди. Они шли по дацану по кругу, слева направо, по часовой стрелке. По солнцу, догадался я. Люди подходили к статуям Будды: медным, нефритовым, посеребренным, из оникса и яшмы, из металла и мягкого камня, подносили сложенные руки ко лбу, потом ко рту, потом к сердцу и тихо молились. Каждый о своем. Своими словами. Они молились о счастье.

Гудели трубы. Я оглядывался, ища источник звука. За расшитыми золотом покрывалами прятались трубачи; одна труба высунулась из-за покрывала, я испугался, какая она длинная. Монахи, в темно-вишневых и ярко-оранжевых одеяниях, подходили к Очирдару, кланялись ему и пели молебны. Время от времени кто-то ударял в медный гонг, и долгий звук тоскливо плыл по дацану. Потом мы вышли из дацана и куда-то побрели по хрусткому чистому снегу. Из-под земли и снегов вырос новый дворец. Мы вошли туда, усатый Сталин доверительно сказал бритому молодому монаху: «Мы пришли за благословением к драгоценному и неиссякаемому Хамбо-ламе». И добавил что-то по-бурятски. Юный монах поклонился нам и повел нас за собой. Мы вошли в зал с высоким потолком. Под стеклянным колпаком сидел, в торжественных одеждах, человек. Руки на коленях, немного ссутулился. Парчовая шапка, струится яркий шелк одежд. Глаза закрыты. Нос, губы, наморщен лоб; живое лицо. Это лицо тяжело, глубоко раздумывает или спит. Медитирует.

Я подошел поближе и увидел: весь Хамбо-лама, его плечи, руки, колени, усыпан снегом.

Это не снег, а соль, прошибла меня мысль. А может, все же снег и лед?

«Он уже два раза открывал глаза», — восхищенно шепнула седая девочка Могзоева. Шаг, еще шаг, еще шаг к Бессмертному. Я подумал тогда: а у христиан ведь тоже есть нетленные мощи, и они мироточат, и им поклоняются. Но мощи — это кости. Нет, и во плоти люди в склепах лежат! Смерть их не берет! Лежат и ждут всеобщего воскресения? А оно наступит только через всеобщий суд. Через Страшный суд.

То бишь через всемирную войну, так? Когда все, все будут, вопя от ужаса, гореть в огне?

«Подойди ближе», — тихо велел мне жирный Будда. Я шел к ламе Итигэлову, а он будто отдалялся от меня. Я шел и шел и все никак не мог его достичь. Я шел, и это все, что я мог сделать для себя. Я шел, и он светился вдали и был моим лекарством, и моей завистью, и моим прощением, а я все никак не мог до него дойти. Он был моей новостью о бессмертии, а новость эта была не нова, и кто мог поручиться, что это не просто законсервированный в соли и броне несчастный человек, и он просто легко умер, погрузив себя в состояние самадхи? Я шел, и это была моя эвакуация из ужаснувшегося близкой войной мира, из мира, сотрясенного первыми ее взрывами, эвакуация из круга тьмы в круг света. Лама Итигэлов сидел в бункере, он целый год сидел в своем кедровом коробе, и раз в году его вынимали из короба и помещали под прозрачный колпак, чтобы люди могли прийти к нему,

а люди всё не могли. И я не мог, хотя, видите, шел. Ноги мои заплетались. По обе стороны от меня, со мной вместе шли невидимые военные, незримые солдаты и генералы, катились танки, взрывались снаряды, вздымали ракеты острые клювы. Неужели до сих пор вы ничего не поняли, люди? Неужели вы себя не узнали? И для вас только инструкция, только приказ, и больше ничего? И все то же самое ждет вас всех, идущие, ждет нас всех: взрыв, огонь, тени на стене, бункер, крики, раны, слезы, медленная тошнотворная смерть, без просветления и молитвы? Лама, ты замер. Замерз. Ты тоже выполнил приказ: ты приказал себе не жить, живя. Так могут немногие. Ты — смог. Смогу ли я дойти до тебя?

И тут что-то случилось со мной. С ламой Итигэловым. С дацаном, с его мраморными цветными колоннами. С нежным запахом кедра, он ласкал мне ноздри. Будто бы время пошло вспять. Что-то случилось и с этим местом, где я бесконечно шел к Хамбо-ламе и все никак не мог до него дойти. Мои буряты исчезли. Может, они были близко, тут, рядом, и просто спрятались. Зачем им было от меня прятаться? Что было вокруг, война или мир? Я не видел стен дацана и его статуй. Живой Будда смеялся за моей спиной, и это был я сам. Мне не надо было оборачиваться, чтобы увидеть себя.

Мне стало немного страшно. Так страшно бывает, когда тепловоз разгонится, и поезд несется, и ты понимаешь: его уже не остановить.

Ноги мои еще шевелились, еще шли. Глаза мертвых смотрели на меня из пахучего, хвойного тумана. Руки мертвых, прозрачные и бессильные, тянулись ко мне. Их, глаз и рук, было слишком много, чтобы мне заглянуть в них, обласкать их. Я внезапно приподнялся над гладкими плитами дацана, завис в воздухе, а ноги шли, ножницы ног шелкали, я перебирал ногами, скручивал ими пряжу минут, сбивал кислое молоко времен. Я шел вперед, а время, смеясь надо мной, шло назад, и вот настал миг, когда время остановилось.

Знаете, это ни с чем не сравнить. Я стал ламой Итигэловым. Я воскрес после ужасной войны, и я видел мой век лицом к лицу, мой непрожитый, страшный. Страшнее его не будет на земле. Огромная дикая война слишком рядом. Громадным плоским ликом глядит на нас Китай. Молодой звериный ислам рьяно рвется вперед, он хочет подчинить себе мир, потому что он молод и жесток, и его Новый халифат, что сделал ставку на смерть во имя Аллаха, будет сражаться до конца. Бешенствует и мечется умирающая Европа. Ее, старую курицу, дружно смеясь над нею, подрумяненной на огне, и над жареным бараном, в великий Курбан-байрам уже едят мусульмане. Щурит надменные глаза Корея: она маленькая, но у нее есть дальний большой враг. Мир накопил немало страшного товара; мы ходим меж торговых рядов и читаем вывески: «ВОЙНА», «УБИЙСТВО», «СМЕРТЬ».

Из мрака дацана появлялись целующие друг друга женщины, обнявшиеся мужчины. Содом и Гоморра сгорели, казненные Богом за разврат, а теперь такой разврат освящают в церквах. Во тьме вился дым из курильниц, а может, просто вечный дешевый табак, а может, пьянящая травка, древний опий, что добывают в горах и дорого продают, чтобы гибли люди. Продают смерти! Все продается и покупается. Времени нет, а люди даже его умудряются купить и продать. Обозначают то, чего нет, стальными кругляшками и длинными цветными бумажками. Хамбо-лама, ты видишь, близко последняя война! Что, ты что-то сказал? Ты шевельнулся? Ты открыл глаза?

Ты хочешь сказать, Хамбо-лама, что эта война, что дрожит и бьется рядом, под рукой, под ладонью, еще не последняя?

Каково это, сидеть век в самадхи? А может, это уже нирвана? Вдохни кедровый дух. Глубоко вдохни. Видишь, я вижу перед тобой в хвойном воздухе, как настоящий святой. Но я ведь не святой. Я обычный человек. Я и прав, и виноват. Я не

могу сделать ни шага вперед. А ты сидишь так спокойно. Так достойно. Ты вечный лотос. Ты лебедь. Ты лысый Будда, только без золотого крестика в большом ухе. Этим ухом ты слышишь, как тонко и длинно поет, стонет тибетская чаша бедной, медной пустой Земли.

...он медленно повернул голову. Ноздри его раздулись. Он открыл глаза, но не совсем, веки его были будто бы прижмурены, они тяжело нависли над глазами, он не мог их поднять и поглядеть открыто, он смотрел тяжело и устало, косил вбок невидимыми зрачками, веки без ресниц слегка дрожали, глаза плыли и уплывали, он, без сомнения, видел, он видел все и видел меня. Хамбо-лама, я услышал тебя! Ты сказал: это не последняя война. Но ведь страшная? Да, страшная. А что мы все тогда тут делаем, здесь и сейчас? Бедные, бессмысленные мы? Зачем мы тогда живем, если все мы скоро умрем?

...он разлеплял губы, и я с ужасом смотрел, как это происходит. Они, губы, у него крепко слиплись, намертво, и вдруг дернулись и поплыли, так же, как глаза, задрожали и силились раскрыться, то ли улыбнуться, то ли разрыдаться, и все никак не могли. Наконец верхняя, чуть синеватая опухшая губа отделилась от нижней, и оттуда вылетело хриплое дыхание; один выдох, а вдоха нет. Все нет и нет. Я не знал, что в самадхи сердце бьется один раз в несколько минут и так же редко происходят вдох и выдох. Вокруг нас никого из живых не было. Летали только бесплотные души; я сперва их боялся, а теперь уже не боялся. Бредил я? Или спал? Или такова была моя единственная настоящая медитация в далеком дацане? Мне это, в сущности, уже безразлично, ведь времени нет, и меня нет, и Хамбо-ламы нет, и войны нет, и мира нет, и ничего нет. Есть только «нет», и внутри этой радости, внутри седой соленой пустоты рассыпаны все звезды и слезы, все яшмы и топазы.

...он вдохнул. Я слышал легкий хрип, когда его легкие расправлялись. Легкие вдыхали соль и мороз. Кедровый, таежный аромат. Я превратился в слух. А может, я превратился в музыку и весь уже звучал — так тихо, неслышно, ведь подлинная музыка беззвучна, ее не слышать, она внутри, а не снаружи. Я слышал, как билось мое сердце, и в такт с его ударами я слышал слова. Их лепили синюшные, замерзшие губы Бессмертного. Ему холодно. Его никто не согреет.

... я слышал эти слова. Я запоминал их. Я знал: они потом придут ко мне. Я их повторю. Я скажу их еще много, много раз. И вам скажу, да, скажу. А зачем мне от вас их таить? Я знаю, что я шкатулка, я хранитель многих тайн, и я не выпускаю их наружу до поры. Но приходит пора, и они сами вылетают из меня, ведь они вольные птицы.

Я знал: я скажу эти слова прежде всего сам себе, и совсем скоро, но не здесь. Здесь их за меня говорит Бессмертный. И я гляжусь в него, как в зеркало. Бессмертного не спрячешь под подушку. Не отвернешь прозрачным стеклом к стене. Это лицо настоящее. Оно по-настоящему опухло. Эти щеки настоящие. Они обвисли, мотаются, бульдожьи брылы. И волосы тоже настоящие; они растут. Он человек, и он Бог. Православные священники сказали бы: нет Бога, кроме Христа! А Баттал усмехнулся бы: врите вы все, нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его! А Будда... Что Будда? Он улыбнулся бы над ними всеми. Им всем. Вам всем.

Вот я и улыбался тогда. И улыбаюсь сейчас. А что мне еще остается делать, если я знаю все, что будет?

...все зазвучало и зашелестело, забилось вокруг теплой кровью. Я упал из воздуха на пол дацана, колени мои подломились, и я рухнул, как взорванный дом. И посыпался весь, обратился в руины. Так застыл. Затылком я видел: надо мной склонились мои буряты. Усатый Сталин безжалостно тряс меня за шкирку. А старая девочка нежно погладила меня по голому затылку. Резинка на моем конском хвосте лопнула, и седые волосы рассыпались по плечам. Я ничего не видел, глаза мои косили и плыли, уплывали вбок, как две слепые лодки, и я сказать ничего не мог, потому что мои синие опухшие, как у пьяницы, губы сильно замерзли и не могли шевелиться. Я чувствовал, как мне просовывают руки под мышки, силятся поднять, вот с трудом подняли и куда-то волокут. И ноги мои, пятки мои чертят по каменным плитам узоры, будто меня тащат по снегу, и я пятками процарапываю в нем глубокие следы.

Потом я почувствовал воздух и жадно хватанул его — губами, зубами. С шумом втянул его носом, и нос обожгло морозом. Резкий свет бил мне в слепое лицо, но я не открывал глаз. Боялся: открою глаза, а вокруг не свет, а тьма. Или буду пытаться их открыть и вообще не открою. «Положи его на бок, на бок!» — верещал надо мной тонкий голос. Мужчина? Женщина? Как отличить, если ты не видишь? И зачем различать? Меня положили на снег. Я лежал на снегу на боку, в позе младенца в утробе матери. Живой голос, этого достаточно. И я жив, если слышу его.

И я жив. И лама Итигэлов жив. И все убитые во всех войнах живы. И скелеты под землей живы. И снег жив. И желтые жирные, голые рыбки в синем озере живы. Все живы. Все есть, и всех нет. Жизни нет. Смерти нет. Если она есть, нас нет. Но тише. Тише. Еще рано об этом говорить. Я завтра вам об этом скажу. И себе тоже.

И вот наступило это завтра.

Весь день я лежал на дырявой раскладушке в мастерской усатого Сталина, он обвязал мне горло своим красным шарфом: все думали, я простудился, у меня поднялась температура, и седая девочка поила меня китайским люй-ча, с бараньим жиром и молоком, добавляя в чай траву верблюжий хвост, и кормила с золоченой ложечки тягучим, мрачно-лиловым вареньем из жимолости, у меня в нем, густом и сладком, вязли зубы, глаза и дыхание.

Мои новые буряты повезли меня в горы. Они так и сказали: лама Итигэлов велел повезти тебя в горы. Там ты просветлишься окончательно. Готовься.

Мы тряслись в автобусе, с утра ударил веселый мороз, солнечный синий снег расчерчивали густые и сладкие, лиловые тени, мы молчали, было хорошо молчать, мы молчали и ехали долго, всю жизнь, и наконец мы приехали в горы.

Я оглядывался. Дивное место. Молчание такое, что слышно, как на шапку садятся снежинки. Что-то потрескивало в синем воздухе: искры? Иней? Плоская крыша дальнего монастыря отражала небесный свет. Сугробы были слеплены из света, и далекие вершины тоже. Острые сколы гор рубили мне живое сердце, так хозяйка рубит тяпкой мясо на разделочной доске, чтобы делать вкусные позы. Руки сами потянулись к пуговице воротника. Куртка полетела на снег. За ней шапка. За шапкой свитер. Я раздевался, а мои буряты смотрели на меня вот уж точно как на придурка. И тут вдруг жирный Будда понял. Он поднял палец вверх. «Тише! Он будет медитировать голым! Как древние монахи! А выдержит ли он? Слушай, друг, ты обладаешь внутренним теплом тумо, да?» Я молчал. На снег полетели брюки и рубаха. Я остался в плавающих под ясным синим небом. Стоял босой на чистом снегу. Ветер пел. Лед звенел, как свадебный хрусталь. Я медленно сел на снег в позу лотоса, положил руки на колени, выпрямил алмазный столб позвоночника. Надо было закрыть глаза, но я медлил. Я смотрел на живой мир передо мной.

Далеко в горах пчелиными сотами приклеился к скалам старый монастырь. Вилась дорога. На плоской крыше ближнего дацана ветер трепал разноцветные флажки, привязанные к невидимой леске. Яркие флажки бились и колыхались, языки огня. Я смотрел на лоскуты, на жалкие тряпки. Это не тряпки. Это мы. Вот так же мы бьемся, мечемся, привязанные к небу незримой серебряной нитью. И однажды ветер срывает нас, и мы летим.

Буряты отошли от меня. Они стояли поодаль. Усатый Сталин, следуя моему примеру, сел на снег. Он не стал снимать овечий тулуп.

Сидел один живой лотос, голый и беззащитный. Сидел другой живой лотос, обернутый в шкуру зверя. Крестик у меня на груди жег мне кожу и кость. Я закрыл глаза и увидел грядущую гибель мира.

И я приветствовал ее.

Спросите, а где же друг мой Ефим, великий революционер?

И где же друг мой Баттал, великий воин Аллаха?

Немного я о них знаю. Грустно это все. Я позвонил приятелю Баттала, задал вопрос, где же сейчас Баттал, получил ответ: в Сирии — и сразу все понял. Джихад не отпустил Баттала. Баттал думал: это он занимается джихадом, — а вышло так, что это джихад занялся им и полностью подчинил его себе. Может, это так и надо в жизни, всецело подчиниться чему-то, кому-то. Я никогда не понимал мужей-подкаблучников, не понимал и мужей-деспотов, и жен-Салтычих. Покорность! Делу, вере, идее, человеку! Наверное, это счастье, смирение. Я всегда был смиренным. Но если надо было, я, сами видите, бил под дых. И бил насмерть.

Плохо это, я знаю. Я уже винился в этом перед Господом Иисусом, и перед Серафимушкой, и перед Матушкой, и перед Кришной, вспоминая незабвенную мою кришнаитку Лену, и перед Буддой — все говорили, я на Будду похож, у меня по спине бегут длинные волосы, как у него, и такие же, как у него, большие уши.

А Ефим, спросил я того парня, приятеля Баттала, вы знаете такого Ефима, вы помните его, ведь они с Батталом очень дружили? Да, помню, знаю, сказал мне хриплый, чуть пьяный голос в трубке, плохи его дела, брат, он в больнице, его из Алеппо перевезли в Нижний, на самолете летели с капельницами и уколами, с кислородными, блин, подушками, ему вообще хана, он обгорел весь и ослеп, на оба глаза, и врачи говорят, зрение не восстановить, каюк ему, он в больничке хотел на себя руки наложить, простыню разорвал на кусочки и сплел себе петлю, себе на шею накинул и чуть не удавился, еле успели вытащить.

Я слушал спокойно. Мое сердце билось ровно и размеренно. Покой, нас всех ждет покой. Ефима тоже. Но жизнь свою придумал не ты. Ее тебе дали. Вручили. Ты не просил, но тебе ее всучили насильно. Против твоей воли. И когда ты осознал, что это только твоя жизнь и больше ничья, тебе больно, горько, и ты вяжешь себе петлю, и ты подбегаешь к окну, чтобы распахнуть его и кинуться вниз.

Иногда тебе удается уйти. Иногда тебя спасают. Для чего-то важного спасают, чего ты не ждешь и о чем еще не знаешь. А узнаешь лишь тогда, когда это происходит.

Тепленький, под винным парами, парень, плетя языком кренделя, говорил мне о моем друге, и я слишком хорошо представлял, что там происходило, в больнице этой. Все видел.

Третий мой безжалостный Глаз видел все.

...отец его, сгорбившись, плакал над ним, страшно рыдал, закрыв глаза ладонью, а Ефим, с перевязанным горлом, щупал его слепыми руками и хриплым шепотом говорил, он так кричал шепотом: отец! отец?! отец! ты это?! это ты! я чувствую твой за-

пах! так ты что, выжил?! ты что, выжил, ты мне скажи? я тебя, выходит, не убил? ты живой? живой?! — и отец его сквозь рыдания бормотал: да, Фимка, да, я живой, и зачем я только остался жить, вот тебя слепого вижу, и зачем ты поперся, дурень, на ту войну, а потом на другую, и чего вам всем, молодые дураки, дома не сидится, дом вы свой не обихаживаете, не строите, а только все разрушаете и разрушаете, дураки, вы сволочи, вы все ломаете, взрываете, и креста на вас нет, и остановки вам нет, вы оголтело бежите вперед, вам бы только убивать, вам смерти надо, смерти, вы потеряли вкус к жизни, вы что, дураки, жить не хотите, ну да, вам ваша жизнь и не нужна, вы с ней с радостью проститесь, поэтому вы хотите все взорвать, землю взорвать и сжечь, и чтобы люди горели, как дрова, и чтобы все кончилось, чтобы дети больше не рождались, чтобы все сдохли, и дети и старики, вас от всего тошнит, вам ничего не нужно, вы обреченные, вы конченные, но Фимка, дурак, я же тебя люблю, дурак, я же тебя родил, дурак ты совсем, я же тебя вырастил, ты же у меня один, дурачок мой, бедный мой! А ты жить не хочешь! Не хочешь жить! Но видишь, я-то живу! Живу! И буду жить, как бы мне худо ни было! Как бы меня ни выкручивала жизнь, как поганую тряпку! А ты! Эх, ты! Господи! Глаз у тебя нет! Но ты же чувствуешь меня?! Ты слышишь меня? Фимка! Фимка! Ты слышишь меня?! Слышишь?! Меня... Меня...

И опять и опять старый человек, небритый, колкая щетина, мокрое лицо, руки трясутся, слезы текут непрерывно, все текут и текут, склонился над слепым парнем, лежащим на больничной койке, на панцирной сетке, а у парня вместо лица бугры и шрамы, а у парня вместо рук сожженные коряги, а парень седой, и у него все губы искусаны. И вся уродливая, в красных рубцах, маска на месте лица ногтями исцарапана. И кровь сочится.

Я видел: медсестра спешит к его койке со шприцем в поднятой руке. Ватка, игла. Резкий, хвойный запах спирта. Что за дар, все видеть и все ощущать? Третий мой Глаз, закройся. Я хочу от тебя отдохнуть.

Но все равно видел зрячий сторож, бессонный Третий Глаз, как бездвижно лежит слепой седой парень на больничной койке и как его отец страшно, взхлеб, плачет над ним.

Я нашел эту больницу. Я пришел к нему в палату. Я думал, я не смогу на него посмотреть, на обожженного и слепого, и все-таки я посмотрел. Смотрел, и видел, и говорил с ним. И он говорил со мной.

Он говорил ровно и тягуче, как автомат. Так говорят стальные роботы.

Он вынес из огня женщину, она сама бросилась в огонь. Он вытащил ее из пламени, она вся обгорела. В это время лопнули и вытекли его глаза. Он, сторающий живо, стоял с женщиной на руках и думал: она труп или нет? А он, он уже труп или нет? Потом он упал. Он сам горел и катался по земле, и его забрасывали одеждой и брезентом, тушили пламя. Кожа у него на лице вздулась. Он пошарил руками, нашел тело женщины, встал перед ней на колени и трясся. Ему теперь нечем было плакать, глаз не было. Она ему сказала, что она его мать. Он ощупывал ее незрячими руками и кричал. Потом умолк. За его спиной бесилось пламя. Красный огонь и черный дым. Это горел его ислам. Их ислам. Ислам Ефима. Ислам Батгала. Их Аллах несогораемый, вечный, горел. Их нефть. И это мы, русские, сбросили бомбы на их восточную нефть. На их богатство, веру, наживу, на их ужас. На их будущее, начиненное жирными пулями. Русские парни, куда вы поперлись? Говорите, это был ваш свободный выбор? Кричите, что каждый человек свободен? Охрипнете кричать! Я свободен, словно мертвый соловей! Я свободен, от себя и от людей! Его мать, какая мать? Бред сумасшедшего. Я сам сумасшедший, согласен, но не до такой же степе-

ни. Его мать, это ж надо такое придумать! Там всюду гудел огонь, он опалил ему мозги. И он ополоумел. Немудрено.

Милый мой Юрочка! Дорогой, единственный мой сынок!

Мы, кто остался в живых, живем теперь внутри ужаса. Мы живем внутри своего собственного преступления: нас никто за руку не схватил, чтобы остановить, нас не свалили наземь хорошим хуком или апперкотом. А хорошо бы. Мы подумали: преступление можно совершить безнаказанно. Вся Земля, подумаешь! Поджечь всю Землю — вот это грандиозный фейерверк! Последний, да, но зато какой впечатляющий!

Кого мы этим всемирным пожаром впечатлили? Какую галактику, звезду? Со звезд не видно, как мы горели; звезды слишком от нас далеки. Какой путь нам сейчас надо пройти? Сыночек, мы, живые, должны сейчас понять: мы будем живы еще какое-то время. Времени, конечно, нет, и мы сейчас потеряли инструменты для его измерения. У нас ни весов, ни сантиметра, ни гирек, ни мензурок, ни логарифмических линеек, ни секундомера, ни стрелок, ни шестеренок, ни гномона, ни песочных часов, ни клепсидры, ничего. Но мы, все живые, понимаем: нет времени, да, но есть мы, и от себя не убежишь. И мы, пока живы, должны идти.

Идти — это не только выходить на улицу из подвала. Может, теперь на нее и не надо уже выходить. Улица — это смерть. Невидимая твоя гибель. Идти можно и внутри себя. Этот внутренний поход, куда он направлен? От преступления к наказанию? Нет, о нет. Кого наказывать? И кто будет наказывать? Какой судья? Какой палач? От ужаса человеческого, от жути человеческой куда мы пойдем? Да разве не к святому? Разве не к Богу мы пойдем?

В молчании я слушаю молчание. Я слушаю тишину. Она всеобщая, замогильная. Я уже умер, но я все равно все слышу. И в тишине я слышу голос той женщины, хромоножки, я так и не узнал ее имени. Я слышу, как ее хриплый пьяный голос сначала шепчет, потом поднимается до крика, до визга: «Да Бога ведь нет... Нет! Нет! Ну, попробуй убеди меня в том, что Он есть! Все было бы по-другому, если бы Он и правда был!»

Я молчу. Мне нечего ей возразить. Я давно не спорю с людьми. Зачем спорить с мертвыми? Это бесполезно. За них можно только молиться.

Преступление — ведь это край. Назад от преступления двигаться нельзя. Это самое дно, и ты лежишь на дне. Во тьме. Ты сам стал тьмой. Ты убил всех и превратился во тьму. Ушел во тьму, утонул в ней. Ты ослеп от тьмы, и ноги твои нащаривают черное дно, и руки твои ползают, пытаются ухватиться за берег. Мокрая глина, камни осыпаются под твоими ладонями. Ты уже утонул. Ты должен вдохнуть воду, чтобы перестать жить. Быть. А ты боишься. Ты еще веришь в то, что ты живой. Все еще веришь.

Вот ты убил, сын мой. Ты совершил преступление. Ты убил одного человека. Снял с него золотые часы. Надел. И пошел по ночной улице. И стал смотреть, как движутся по циферблату стрелки. Время идет, думал ты, и время похоронит то, что я сделал. Все оказалось не так. Наоборот. Ты похоронил свое время и себя в нем. Время перестало быть, и ты прекратился вместе с ним.

Будда учит: людей на самом деле нет, и мира нет, и ничего нет; так зачем сокрушаться, плакать над гибелью мира? Однако мы, живые, плачем. А слезы священны. Тот, кто может плакать, уже разбудил святое в себе. Это первый шаг к святому. Ты плачешь, и ты уже медитируешь. И ты уже молишься. И тебя, это тебя одного уже обнимает Матушка за плечо своей нежной, лилейной рукой.

Сынок, и меня сейчас Она обнимает, в этом подвале, из него я уже не выйду. Не выберусь под солнце, солнца ведь нет. Все разрушилось, но восстанет ли снова? Истинны все наши боги или ложны? Ведь они нас не спасли.

И, может, правильно это.

Я раньше, до Вселенского Пожара, думал: что лучше в пору Страшного суда, во время, стоящее рядом с Судным днем, — родить или умирать? Женщина рождает ребенка и кормит грудью, но это все хорошо, когда мир. А когда война, несчастнее всего дети. Ты, взрослый дурак, ты развязал войну, ты в ней сражаешься и убиваешь, так сдохни, глупый воин, помрешь в бою, никто и не вспомнит о тебе. А каждый кричащий от боли младенец? Кричащий от ужаса отрок, его же тело — сплошная рана? Как с ними быть? Один их вид вынимает из тебя душу и режет ее на куски. А если вся земля полна такими вот орущими детьми? Ты их родил! Ты их убил! Прощения тебе нет.

Какой волк, зубастый призрачный хищник, подточил своими жадными, голыми острыми зубами соборный разум целого мира, целостного прежде? Волку важно перегрызть чужое горло и разгрызть кости. Он так терзает добычу. Он хочет жить и есть. Ну хорошо, вот он, волк, нас сожрал. Стоит, облизывается. Жрать больше нечего. Мы все мертвы. Дичь мертва. Ешь не хочу! Да он не хочет есть. Он обожрался. Он стоит и глядит лениво, маленькие желтые глазки тускнеют и гаснут. Он хочет спать. Он вытягивает вперед лапы и долго, страшно зеваает. И его пасть дышит вонью и сытостью.

Он сыт. Ненадолго. На время.

Завтра он проголодается. А еды больше нет.

Есть мертвые камни. Есть обожженные скалы. И больше ничего.

Знаешь, сынок, незадолго до последней войны я был в горах Забайкалья. Там я встретил Будду. Это была незабываемая встреча. Думаю, он меня тоже запомнил. Будды, знаешь, они время от времени приходят на землю; видимо, я удачно подловил его, мне повезло. Я сидел голый на снегу, я так медитировал. Снег тихо искрился, солнце заливало меня желтым молоком. Я не чувствовал холода. Сидел на снегу в одних плавках, подо мной снег слегка подтаял. Я работал с внутренним теплом, тибетские монахи называют его тумо. Тумо ходило во мне вниз-вверх, поджигало все мои чакры. По блестящему, алмазному снегу человек издали медленно шел ко мне. Он шел, едва ступая, я видел, он даже поднимался над снежной тропой, парил в синем воздухе. Сам он весь светился, как кус золота. У него были большие уши, лысая голая голова, из мочек свисали тяжелые серьги, он шел по снегу босиком и тихо улыбался. Он шел ко мне и все больше замедлял шаг. Настал момент, когда он не шел, а застыл, и все-таки, стоя недвижно, он ко мне приближался. Я сам застыл, не шевелил ни пальцем, ни губой, даже ноздри не раздувал: не дышал. Задержал дыхание, выдохнул и не вдыхал больше. Слышал, как бьется сердце. Оно раздулось и тяжело било мне в ребра, как колокол. Я слышал его дальний, под синим небом, тяжкий гул.

Человек, что шел ко мне по снегу, не двигаясь, приблизился. Стоял рядом. Я понял, что это не человек. Я узнал Будду. Слишком гладкое лицо. Слишком блестящие, будто жиром намазанные, скулы. Глаза чуть прищурены, и свет из них бьет, идет сквозь мои ребра навывлет, вылетает из моей спины и летит далеко. Я стою, пронзенный светом, как копьями или стрелами. Мне не больно. Я счастлив. Я знаю, что сейчас надо спросить Будду о самом главном. Но я вежлив. Я не хочу говорить первым. Я молчу и не дышу.

И тогда он поднимает ко мне свое широкое, как бурятская сковорода, пылающее золотом, солнечное лицо. Лицо его совсем рядом с моим лицом, его глаза напротив моих. Я смотрюсь в гладкое зеркало. Я вижу: это мое лицо. Это я сам.

А разве спрашивают самого себя о разных разностях? Ты же сам все про себя знаешь. Ты знаешь, что ты думаешь, что ты сделаешь сегодня и завтра.

Значит, все равно, кто из вас первый разомкнет губы? Ты или он?

И я сказал ему, сынок: «Будет ли нам наказание за великое наше преступление?»

И сам себе я ответил: «Молитва о прощении — вот главное наказание. Ежедневная, ежечасная молитва, ежеминутная, всегдашняя. Ты должен собирать рассыпанное. Молиться за всех, кто потерялся, кто сгнил под забором и канул во

тьму. Ты соберешь под крыло и простишь всех грешников, потому что грешники больше всего страдают, муки их в тысячу раз сильнее мучений праведников. Мир есть страдание, так молись за судьбы мира! Пой о священном! Пой о святом! Над тобой будут смеяться. Это участь всех молельщиков. Судьба всех святых».

«Господь Будда, — сказал я ему, — царевич Гаутама, великий отшельник Шакьямуни, светоносный Сиддхартха, бессмертный Татхагата, вот ты говоришь мне о святом! Но тысячи, миллионы людей над святым смеялись. Хохотали. Ржали как кони! Смеялись над богами, кричали, что все это старинная выдумка, а мир идет вперед, и богов давно пора выбросить на свалку! А другие миллионы людей вставали под замена Бога своего. И дрались, безумно и дико дрались за своего Бога; за то, чтобы Он, их Бог, всех других богов победил, и все страны и народы встали на колени и преклонились перед Ним одним. И каждый кричал: мой Бог силен! И все кричали с разных сторон: нет, мой! нет, мой! нет, мой! Где же тут святое? Если каждый каждому норовит в глотку вцепиться? Человек человеку, получается, и правда волк? Волк самый настоящий? Хищный, дикий? И любой Бог, если его обнять, охватить этими дикими людскими криками, обращается в волка, и за волком бежит человечья стая, и щелкает зубами, и охотится, и преследует чужака, а догнав, на колючем снегу в клочья растерзывает его? Ты все это видишь, великий Будда! Где же тут правда? Где истина?»

Я задал самому себе этот вопрос, и я, Будда, долго молчал.

Сам перед собою молча стоял я, и внутреннее тепло тумо горячим перламутром перетекало во мне. И зеркало снегов напротив меня дрогнуло, и Будда, я, ответил так сам себе:

«Любой преступник страдалец. Любая казнь бессмысленна, если за ней не стоит завтрашний день. Все, кто стоит на обрыве, сейчас рухнут вниз; и за их спинами вздымается громадным цунами великий океан; он захлестнет Тибет, затопит Гималаи, белая пена взметнется и достигнет звезд. Мир может погибнуть не только от пожара, разожженного человеком. Великий космос тоже жесток. Он жесточе человека. Страшнее. Но ты живешь. Здесь и сейчас. И пока ты живешь, помни о святом. О Свете. Свет! Вот ты стоишь в круге Света. Так и стой там! Не выходи из него! Стой там даже тогда, когда все вспыхнет и сгорит вокруг тебя. Стой и молись. Стой и люби. Ты не любишь. Ты есть любовь. Ты сам».

Я внезапно повторил эти слова Будды на старинном церковном языке: «Аз есмь любви», — и я не помню, кто так говорил, кажется, какой-то стародавний святой, его хотели убить сарацины, ну, значит, арабы, сжечь хотели или отрубить ему голову, не знаю, а может, сварить в кипящем масле, все равно, и вот его привели к владыке сарацинов, поставили его перед тронном, а он смотрит им всем в кроважные рожи и смиренно говорит, как поет: «Я есть любовь». Я сам любовь, вот как! И кто же, если я сам любовь, сможет меня когда-нибудь убить? Уничтожить?

«Значит, любовь бессмертна?» — спросил я Будду.

И знаешь, что он ответил мне, сынок?

Что я сам себе ответил, несчастный, голый сумасшедший человек, сидящий, скрючив ноги, на чужом, дальнем бурятском снегу?

«Смерти нет. Бессмертия нет. Есть только Бог, Он везде».

Золотое зеркало лица Будды качнулось, улыбка накренилась, стала падать и разбилась на тысячу лучей.

Сынок, милый мой мальчик, разбился свет. Разбился мир, его уже не собрать. Но ты веруй. Ты верь в то, что мы встретимся. Ты понимаешь, ведь ты — это я. Значит, мы уже встретились. Я пишу тебе это мысленное письмо, ведь это ты пишешь мне. Это уже неважно, кто кому пишет. Все перетекает друг в друга жидким перламутром, горячим талым жемчугом, великим огнем.

Не бойся, не плачь. Дай я прижму тебя к себе. Ты ведь мой маленький, да? Ты мой ребенок, любимый мой сынок. Дай я спою тебе песенку, старую колыбельную. Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай. Придет серенький волчок, тебя схва-

тит за бочок. И утащит во лесок... под раkitовый кусток... Спи-усни, спи-усни... угомон тебя возьми...

Если ты думаешь, что я сошел с ума, это напрасно. Я в здоровом уме и твердой памяти.

Просто, может, я последний человек на земле. И поэтому я делаю то, что считаю нужным.

Я пою тебе колыбельную, и это сейчас нужнее всего. Нужнее хлеба, воды и жизни.

Как я сюда попал, в Иерусалим, даже сейчас не могу понять. Все сошлось как-то четко и враз, все звезды. Ну да я же такой, сам Серафимушка мне брат, а Матушка Господа мне матушка, и это я без зазнайства говорю, а просто правду говорю. Правду говорить легко и приятно, кто-то сказал, я где-то услышал это выражение.

Родя Волокушин появился, вырос как гриб из-под земли, мотается у меня на пороге: «Андрюха, два уха! Что киснешь тут, дитя подземелья! Я спонсора тебе нашел, он твои картины хочет купить, я ему фотографии показал, он говорит, это духовная живопись! И сам чувак такой, знаешь, духовный! От тебя недалеко ушел! По святым местам шастает, в святых источниках купается! И знаешь, что он мне еще сказал? Что хочет тебе сделать сюрприз! Какой-то, елки зеленые, сюрприз! И вроде сейчас не новый год, а, Андрюха?! Не время вроде для подарков?!»

Пришел этот богатый человек. Спустился ко мне в подвал, хромая. Да, он хромал, как та моя пьяная, спасенная мною хромоножка. Только этот сильно хромал, на одну ногу крепко припадал, да еще и волок ее за собой. Я постеснялся его спросить, что с ним; родился он таким или покалечился; мне потом Родька сказал, он в авиакатастрофу попал, самолет падал на деревья, на лес, многие погибли, единицы остались в живых, вот он остался. Самолет развалился на куски. Мужик этот вцепился в ель и сидел на ветке, над тайгой это было, а потом устал, измучился, и свалился на землю, и сломал ногу. Его чудом не съели волки. И чудом нашли спасатели. Все на этой земле кого-то спасают. Один топит другого, убивает, а третий его спасает. Вот вся наша жизнь.

Все наше чудо.

Богатый хромец надменно ткнул пальцем в мои холсты: «Вот этот мне! Этот! И этот!» Чуть не сказал: «Заверните!» И выбрал же, черт, «Безмолвную», «Ангела» и «Матушку», самые дорогие моему сердцу работы. Он стоял с вытянутым указующим перстом, а я спросил свое старое сердце: сердце, ты не будешь скучать по этим холстам? Не будешь тосковать? По портрету кришнаитки Лены, по Матери Господа моего, по золотому ангелу моему хранителю? И чакра анахата так отвечала мне: никогда не тоскуй, никогда не страдай. Все уплывает, уплывет и это. И сам ты уплывешь по водам времени в легкой лодке навстречу любви. Люби и отдавай все свое с легкостью. Я улыбнулся богатому хромому человеку и сказал ему: «Денег не надо».

Он очень удивился. Просто опешил, молча стоял, как столб. «Как это не надо?» — растерянно спросил он. Он, наверное, подумал: я полный придурок. Живу в нищем подвале, глодаю сухую корку, и денег не надо мне? Что-то тут не так. «Так, не надо, и все», — развел я руками. «Нет, вы возьмете деньги! Обязательно! Иначе я уйду и больше не приду!» Кажется, он всерьез разобиделся. Деньги — ведь это их, богатеев, родной язык, они все говорят на языке денег. А я этого языка не знаю. Мы с ним как два иностранца. Стоим друг перед другом и объясняемся жестами. И он передо мной пальцы веером разводит, а я ему кланяюсь, сложив руки на груди. Мы две планеты. И никогда мы не столкнемся в ночном черном небе.

«Ну раз вы денег не берете, — выпятив губу, говорит он мне, — тогда я вам делаю подарок. Вы, — говорит, — духовный человек, и я тоже духовный. Повысьте

свою духовность. Вот вам билет в Иерусалим, на явление Благодатного Огня в храме Гроба Господня, иначе Воскресения. Вы никогда не были в Иерусалиме на Пасху? Вот, значит, побываете». И вынимает из кармана билет на самолет, и мне сует. И я беру, а что мне еще остается делать?

Родька Волокушин помог мне перевязать крест-накрест картины, чтобы удобнее было в машину грузить. Машина у хромого богатея отличная, «Лексус», такой мощный джип. Никогда уж мне на такой машине не покататься! Да и если бы я вдруг непомерно разбогател и купил ее, как мне, старому грибу, сдавать на права? Зрения уже нет совсем. Слепну, и даже яркие краски не спасают. Перестаю видеть мелкие детали. Зато Третий Глаз работает вовсю. Вижу много чего. Да не каждому говорю. Молчать тоже надо уметь.

Погрузили мы мои работы, уехали они навсегда, вернулся я в подвал, а там под чайником сверток лежит. Разворачиваю — доллары. Целая пачка толстая. Я их впервые увидел так близко. Волокушин ржет. «Что, испугался?! Ну все, теперь ты до конца жизни обеспечен, старик! Живи и в ус не дуй!» Я протянул пачку денег Родьке. «Может, тебе они нужнее, чем мне?»

Родя повертел пальцем у виска, кинул пачку на мой грязный стол, поближе к горячему чайнику и оплывшей свече, и убежал сломя голову. Бежал и хохотал. Надо мной.

Я доллары эти все отдал Софочке и внукам. Себе малость оставил: на пропитание и на курево. И на кофе.

Кофе в моем возрасте пить много нельзя и курить много нельзя: мне сказали, инфаркт будет. Сосуды слабые уже. А я думаю себе: ну, пока меня не пристукнуло, еще посмакую кофейку, еще покурю. Подымлю и почмокаю. Слаб человек, одной ногой в могиле, а все хочет наслаждаться, дрянь такая.

И вот я здесь, в Иерусалиме, и стою в храме Гроба Господня. Сегодня Страстная суббота. А завтра Воскресение Господне. Пасха. Народ в храм набивается, все прибывает. Сюда трудно попасть, вход по особым билетам. У меня такой билет с собой имелся, мне хромец его дал, вместе с самолетным.

Люди входят. Люди втекают. Толпятся, охают, вздыхают. Кто-то забрался на плечи друзей, это эфиопы, а может, арабы, у них лица черные и потные. Мужики сидят на шеях других мужиков, кричат и бьют в бубны. Цирк! Люди встают все плотнее, и все жарче во храме. Мне тоже жарко. Голова кружится. Мне бы пора пить таблетки и с собой их носить; я слишком беспечно к себе отношусь. Пусть будет все, как Бог решит! Ведь Он меня с небес видит. И теперь видит. Мою немощь, мою болезнь и слабость. И силу мою видит.

Странные голоса, толкотня, смутное пение, темные фрески по стенам. А может, это ожившие фигуры тех, кого давно на свете нет? Голоса звучат. Я слышу голоса. Темное, дальнее пение. Идут темные печальные монахи, поют о том, как Иисус спускается в ад. Смелость надо иметь, чтобы сойти в ад! И я себя спрашиваю: а ты смог бы? Ты бы — отважился?

Важный человек в простой рубахе движется сквозь толпу. Толпа расступается. Люди жмутся друг к другу, как дети. Прижимаются друг ко другу локтями, животами. Я слышу, кто-то рядом говорит по-русски: «Это патриарх Иерусалимский, патриарх, глядите! Он в одном полотняном подряснике!» Я понимаю, почему он в одном подряснике. Это чтобы все видели, что у него с собою нет ни спичек, ни зажигалок, ни кремня и огнива, ни тряпки, облитой бензином. Он не может зажечь Огонь. Человек не может зажечь Огонь. Только Бог.

А человек, ссутулившись, смиренно входит в маленькую кувуклию, в каменный тесный гроб, чтобы там, внутри, в крошечной тьме, умереть — перед явлением Света: перед Воскресеньем.

Меня теснили ближе к кувуклии. Внезапно погас свет. Мы все, паломники, мольщики, оказались в густой и страшной тьме.

Страх, настоящий страх. Это страх перед рождением. И перед гибелью. Мне сказали: если Огонь не сойдет, Землю ждет скорая гибель, и все в храме тоже погибнут. Сердце мое стукнуло раз, другой и перестало стучать. Как у ламы Итигэлова. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание. Господи, взмолился я, я так грешен перед Тобой! Мой грех может перевесить на чашах Твоих весов. Прошу, прости мне мой грех! Я лукавил перед Тобой, я негодовал и насмехался, я ругал ближнего и обманывал себя. Прости мне, если можешь! Но Ты же все можешь!

Густая тьма пахла имбирем, корицей и кедровой хвоей, немного лимонной цедрой, немного розовым маслом. Она пахла Востоком, Иисус ведь жил на Востоке, он, Бог, в бытность Свою человеком сполна вкусил Восток, его пасхальных ягнят и его пресные лепешки, его танцы живота и его песчаные бури. Он раскусил Восток, как сладость, как спелую смокву. Тьма, и очень страшно. Это ли страх смерти? Да ведь в эти минуты, здесь и сейчас, мы все уже умерли; чего же еще страшиться?

Да, вот так там и будет, по ту сторону жизни, думал я тогда, стоя в толпе, стиснутый людьми, в тепле их дыханий и задыханий, в потустороннем поту их рук, шей и лбов. Мое лицо тоже было все мокро. Плакал ли я? Помню, что молился. Хотел вытереть с лица пот и не мог — руки мои были с обеих сторон зажаты чужими телами. Чужими? Родными! Разве все мы тут не были любимые, бедные дети Божьи?

Тьма. Медленно, раз в минуту, бьется сердце. Я не хочу считать его удары. Вокруг меня, за спиной и впереди молчат и дышат люди. Они ждут. Мы все ждем. У всех шевелятся губы. Все шепчут. Все молятся. Молюсь и я. Что значит моя крохотная молитва перед огромной, во весь храм величиной, во всю Землю величиной, всеобщей молитвой всех людей? Всех, кто верует и любит?

Единое во множественном и множественное в едином. Из таких малых молитв складывается общая, святейшая. Складывается мольба о спасении. Не сегодня! Не завтра! Боже, пожалуйста, отодвинь от нас гибель! Пронеси мимо нас чашу сию!

Во тьме заиграли нежные сполохи. Еле видные молнии ударили людям в плечи и затылки. Их головы обнимали призрачные нимбы; они слабо светились, вспыхивали и таяли. И снова наваливалась тьма. Я задышался. Тьма забила мне легкие. Я ловил ртом воздух, как рыба, вытасченная из моря на берег. Люди задышали громче, тревожнее, прерывистее. Я едва не терял разум. Господи, не дай мне сейчас умереть! Я еще хочу увидеть Твой Огонь! Я еще хочу жить! Жить! Господи, во Имя Твое!

Огненные змейки юрко и быстро ползли из-под купола, сползали по стенам. Гасли. Ни шепота. Ни стоны. Все задавили, затоптали внутри себя свое страдание. Сейчас здесь не было никакого людского страдания, никакой скорби, никакого плача. Я будто поднялся над полом, завис на минуту, а потом стал медленно подниматься к куполу. И из-под купола я видел и чувствовал всех. Я слышал, как молятся старухи монашки. Видел, как текут слезы по потному, смуглому лицу араба с серьгой в мочке огромного волосатого уха, и он волосатой мощной рукой отирает соленую влагу с подбородка, со скулы. Я слышал эти слова, потому что я их сам повторял: Господи, не оставь нас. Господи, не покинь.

Тьма вся пропиталась этими нежными, еле видными вспышками, зигзагами света, что был лишь воспоминанием о свете. Может, нам одна лишь тьма и осталась, а света больше не будет никогда. Не станет! И мы во тьме, слепые, протянув вперед руки, побредем по земле, лишенные солнца, лишенные огня и счастья, и будем хвататься

друг за друга, и будем ощупывать мокрые лица друг друга, повторяя: «А помнишь?.. А помнишь?..»

Тьма колыхалась и густела. Уплотнялась. Сквозь нее уже нельзя было пройти, не изранив кожу, не сломав руки и ноги, не разбив упрямый голый лоб. Тьма обняла нас всех. Крепко обняла. И одна лишь молитва осталась на пересохших соленых губах — молитва о чуде, молитва о Свете.

Свет! Милый! Мы больше не будем. Мы не виноваты. Мы исправимся. Мы снова полюбим. Мы больше не убьем. Не обманем. Ты только приди. Явись! И мы, люди Твои, станем другие! Совсем другие! Милый Свет, ты же видишь, на самом деле мы хорошие! Мы просто заблудились во тьме. Мы заблудились и ошиблись, мы не поняли Тебя, мы слишком рано ослепли и не поверили в то, что прозреем. Свет! Родной! Радость! Радость наша! Радость моя! Сойди! Только сойди, счастье, единственное земное наше, бедное счастье, сойди, слышишь!

Под куполом будто открылось круглое окно. И из окна этого вниз упал прозрачный, чуть голубоватый столб. Внутри столба весело плясали золотые искры.

В этот миг распахнулась дверь кувуклии.

И, крепко держа в обеих руках толстые пучки белых длинных свечей, из черной двери каменного гроба вышел патриарх. Он высоко поднял над собой Огонь.

Это горел Благодатный Огонь.

«Агиос Фос! Агиос Фос!» — закричали кругом люди по-гречески, и по-латыни закричали, и по-арабски, и по-эфиопски, и по-английски, и по-сербски, и по-грузински, и по-русски, да, я услышал рядом с собой хриплое, ликующее: «Благодатный Огонь, ура, сошел, Господи, спаси люди Твоя!» Из окошек кувуклии высывались пучки пылающих свечей, и их подхватывали люди и быстро передавали из рук в руки; свет, что падал из отверстия под куполом храма, все ярчел, столб света наливался ярким, торжествующим золотом, и я, вот чудеса, оказался прямо в этом столбе света — в круге Света, рядом с гробовой кувуклией, рядом с белобородым патриархом с неистово сияющими глазами, с поднятыми над головой руками, и в каждой руке мощно, победно горит свет, рвется из рук, и тьмы больше нет. Где тьма? Нет ее!

И вот уже по всему храму горит Огонь, люди передают его из рук в руки, возжигают от Огня свои загодя припасенные свечи, мажут огнем себя по лицу, по рукам, окунают в Огонь лбы, брови и волосы, а он не жжется, он не обжигает, не сжигает, он сейчас жизнь, а не смерть! «Еще зажегся... слава богу... спасены...» — слышал я шепот рядом и не мог оглянуться. Я смотрел на Огонь. Зрачки мои стали Огнем, ладони мои и плечи мои стали Огнем. Я с радостью сгорел бы в этом Огне, полностью превратился в Него, остался Им навсегда. И это была бы лучшая участь.

И все, кто стоял во храме и сжимал в руках, в кулаках пылающие свечи, молились об этом: мы станем Тобой! Живым Светом! Мы готовы умереть, мы больше не боимся смерти, если за ее порогом Ты, Живой Огонь! Мы поняли, Ты изначален, все началось Тобой и в Тебя же вернется. Огонь, Ты и есть Христос Бог, это Ты Его дыхание, Его глаза и Его объятие! Каждый из нас может обожиться, становясь Тобой, Агиос Фос. Не отвергай нас! Обними нас! Благослови нас!

Святой Свет — против Гибельного Пламени.

Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Это я смутно вспомнил какие-то бредовые, старинные слова — то ли из церковной книги, что мы пытались читать вместе с пьяной хромоножкой, то ли с какой церковной службы, на которой я стоял когда-то давно, а батюшка шел во храме по кругу, тяжело ступая по каменным плитам, и махал перед носом у меня пахучим, дымным кадилом. Да, где твое жало, проклятая смерть? Свет заливал храм. По лицу патриарха Иерусалимского текли слезы и вспыхивали огнями. Все водили в воздухе пучками свечей, махали ими, пили и целовали

Огонь, и у меня в руке невесть откуда взялся такой же пук тонких белых, длинных свечей, какие и все держали, и кто-то поднес к моим свечкам пламя и возжег их, и они занялись, как маленький костер, вспыхнули весело и бесповоротно и горели бешено, вольно, пламя взметнулось слишком высоко, пыхнуло, раскрылось ярким веером, ударило мне в лицо, я раскрыл губы, как для поцелуя, и вдохнул Огонь, и не почувствовал ожога, а только чистое, светлое, огромное счастье. Люди, хотел я крикнуть, глотая огонь, окуная в него щеки, губы, плачущие от радости глаза, люди, вот так целуйте и любите друг друга, как целуете вы сейчас этот Огонь! Вы, каждый, друг для друга — Агиос Фос! Так что же вы притворяетесь, что вы все злые, гадкие, хитрые, склочные? Вы изначально безгрешны. Вы — Свет! Не тьма!

Я окунул в Огонь еще раз лицо, лоб и щеки, и высоко поднял его над головой, и смеялся, не стыдился скалить в смехе беззубые свои, старые челюсти. Все пылало. Все ликовало. Все стало внезапным и ярким счастьем. И теперь его было у людей не отнять. Не отобрать так просто. Все вцепились в него, в свое пылающее счастье, и высоко, еще выше, выше поднимали его, чтобы все его увидели — и те, кого нет здесь, и те, кто далеко, и те, кто умерли уже и лежат под землей во тьме. Я встал на цыпочки, чтобы поднять мой Огонь еще выше. И тут что-то случилось с огнем, с храмом, с миром и со мной.

Я стал видеть сверху сначала купол храма, горящего торжествующим огнем; потом крыши и купола огромного города Иерусалима, грозовые весенние тучи над ним, потом земля странно, громадно выгнулась, и я видел этот мощный выгиб земли, кромку густо-синего, мрачного моря, ржавые шкуры лесов, и старое сыпучее золото пустынь, и бронзу грозных, кучно стоящих гор, и земля то сдвигала свои плоские плиты, то раздвигала, кренилась набок, и тогда я падал вместе с ней и не знал, за что ухватиться, чтобы выжить, спастись; я видел смещение и шевеление огромной, дикой суши, человек ее только снаружи изгрыз, как мышь, а внутри она была все такой же мощной, и сильной, и великой, и страшной, как от сотворения мира. Колыхание пространств сотрясало воздух, и воздух вспыхивал и гас, воздух, играя, становился то светом, то тьмой, солнце падало в черный прогал, звезды ныряли в ясную синеву, все мешалось и проникало друг в друга; я видел дышащий космос, я, маленький человек, и страшно мне было. И крикнуть я не мог, мне горло сдавило молчанием, последней молитвой; я мог лишь раскинуть руки и плыть, плыть в жидких пылающих слоях неба, над руинами земли.

Передо мной летели люди, и надо мной летели люди, и за мной. Они все держали в руках ярко горящие свечи. Вязанки свечей пылали, и лица людей горели ярче пламени. Между людьми летели кони, они весело ржали. Летели свиньи и козы, индюшки и цесарки, летели павлины и распускали радужные хвосты. Рушились царства, и летели, срывались в пропасть камни и апсиды дворцов, хворост хижин, срубы распадались на бревна, и черные бревна летели в пустоте, вспыхивали и горели, горели в черном неохватном небе. Летели дети, они орали от страха, летели выпавшие из печей горящие головни, и летели трупы, сожженные в печах для многолюдных казней, и летели задушенные, синие люди, кто задохнулся газом в убийственных машинах-душегубках, и летели разрубленные пополам, обезглавленные, сожженные на кострах; и пока они летели, раны их срастались, искалеченные члены на глазах заживали, обгорелая кожа, вся в рубцах и шрамах, менялась на новую, гладкую и свежую, и прозревали слепые глаза, и тянулись вперед сломанные, изувеченные руки. Они летели, звери и люди, камни и звезды, и все они искали в бездонном небе Того, Кто будет их всех судить последним Судом — или, может, прослезится при виде их, протянет им руки для объятия, а губы для поцелуя, обнимет, прижмет их к сердцу и обласкает, — а они уж и не верят в это, они уж забыли, что такое прощение и милость!

Вот это картинку я видел в храме Гроба Господня, всем картина картину!
Мне такой никогда не написать.
Это можно только увидеть. Ну, немного рассказать об этом.
Не все, в общем-то, можно рисовать. Кое-что рисовать и нельзя.

«Милости хочу, а не жертвы!» — как в бреду, шептал я сам себе, а может, шептал это моему Богу, Он сегодня опять воскрес, возродился, Он послал мне и всем нам Благодатный Огонь, и за это одно, за сияние это, за могучее горение этого Огня я готов был пойти за Ним в огонь и в воду, трудиться и не изнемогать, готов был забыть все, даже незабываемое, и начать все сначала, и любить, всецело, всем существом и всей душой любить, даже если меня будут топтать и растопчут в грязь, в лепешку за мою любовь, смешают мои кости и кровь с землей и прахом.

Я летел в небесах с ними со всеми, с моими людьми, с моей земной несчастной живностью, с моей землей, с моими руинами и иконами, и я молился так: Господи, я видел сушу Твою и море Твое, землю Твою и небо Твое, это Твоя Европа, это Твоя Азия, Африка Твоя и Америка, океаны Твои тихие и громкие, это Твои сироты, материки, каменные Твои плиты, что под дыханием Твоим сдвигаются с мест и плывут в никуда! Ты стоишь на материке, как на золотой льдине. Земля даст трещину, а Ты поднимешься над пастью ада и опять полетишь! Ты есть Свет, Тебя не поймать в мышеловку. За Тебя людям отрезают головы. За Тебя расстреливают и сжигают. Почему нам надо, так неистово надо верить в Тебя?!

И сам себе я ответил, задыхаясь, летя в светящейся бездне: потому, что все мы, каждый, к Тебе, в руки Твои вернемся!

И здесь, в этом древнем старом старике Иерусалиме, где тысячи тысяч людей рубились и любились, где крестоносцы побивали сарацинов, а сарацины крестоносцев, где мечи обжигали воздух и рассекали живые, твердые и тугие тела, как нож масло, где гудели по всему городу дикие пожары и, стоя на коленях, плакали, молились и хрипло орали одичалые люди, а людей бросали в костры, как доски, как бревна, здесь, в нежном Иерусалиме, где много сверкающих под луной громадных яблок, дынь и апельсинов, в ночи спят мечети и минареты, золотые купола, алые, красные, медные гигантские гранаты, полосатые тыквы и терпкие желтые лимоны, бронза смокв, яшма темной райской листвы, здесь, где веками люди дрались и убивали, один другого, за свою единственную веру, мы стояли в храме Гроба Господня, глядя друг на друга, мы, последние христиане, и мы понимали: еще прольется кровь, еще убьют нас за нашу веру, и мы убьем в ответ, и на пепелище кто-то из нас, кто победит, начертает крест, а может, полумесяц. Мы, в дни крестовых походов, бились за Гроб Господень, а теперь нам за что биться? Народы с Востока бегут в Европу, в Париже стреляет во французов мальчик из Дамаска, русский Василий становится арабом Батталом и едет в Новый халифат, чтобы резать, как баранам, глотки пленным англичанам. Храм! Гроб! Огонь Божий! Ты видишь, Боже, никуда мы от Тебя не убежали, как ни старались!

И тут я вроде как мгновенно выпал из круговращения, из клубящихся диких ветров. Оказался опять на дне сверкающего огнями храма. Оглянулся. Огни горели. Золотые космы огней вились во мраке, как на ветру. Рядом со мной, по левую руку от меня, чуть сзади, стояла маленькая женщина. Голова ее и лицо были укутаны в плотный черный платок. Я сперва испугался ее. У нее не было носа. У нее не было век и бровей. У нее не было губ, вместо губ шевелилась безгубая страшная щель, прорезавшая бритвенным лезвием плоть.

У нее не было лица.

Я не сразу понял, что у нее сожжено лицо. Обожжено.

Глаза на том, что высовывалось из-под черного монашьяго платка вместо лица, на поверхности огромного ожога, смотрели черно и скорбно. Век не было, они тоже были сожжены. Ее глаза глядели, как у совы: кругло, мрачно, не моргая. Видно было, что хирург попытался слепить ей из ее же кожи губы, пытался натянуть на слишком круглые глаза веки; у него не получилось.

Женщина глядела на меня черными, круглыми, как озера, бездонными глазами, и я стал тонуть в этих глазах. И еще больше испугался. Пук благодатных свечей горел в моей высоко поднятой, как у грозного ангела, руке. Я опустил руку и поводил косматым огнем около лица. Потом поднес огонь к лицу женщины. Она не отшатнулась. Но я увидал, как безгубый рот раздвинулся в уродливой страшной усмешке.

И я отдернул руку с огнем.

Что я делаю! Я устыдился. Огонь, я вижу его как жизнь, а она видит его как смерть. Но она стоит неподвижно. Стоит и смотрит на меня. Мне надо ей что-то сказать. О чем с ней говорить? У нее вместо лица сплошной рубец. Кожа выросла на лице, но зажила ли душа? Что она пережила? Зачем она здесь?

Она ничего не говорит, только молчит и смотрит. Может, она глухая, немая?

Я осторожно поднял горящий пук свечей над нею и над собой. Теперь огонь озарял нас двоих. Круглые совиные глаза прямо глядели в мои глаза. Уродливая монахиня с обожженным до костей лицом смотрела на меня сурово, почти осуждающе. Я для нее был здоровый жлоб, весело живущий в мире здоровых, сытых и счастливых. Она же не знала, что я беден и слаб, и что я валяюсь на дне Божьего котла, и со всем скоро меня сварит и съест прожорливое время. Черные, как нефть, глаза. Фигуры не видно под суровой черной тканью. Если так жестоко обожжено лицо, значит, сожжено и тело. Сожженная живьем стояла передо мной во храме, и я не знал, чем ее утешить. Самим собой?

Завтра, только завтра еще ждала Пасха, сегодня целоваться было рано, но я, далеко отставив руку с огнем, все равно приблизил лицо к лицу уродки, такими, наверное, в древности глядели лица прокаженных, отверженных, что при дорогах сидели и милостыньку просили, и троекратно ее поцеловал. Под моими губами трещала и разлезалась горячая кожа в корке жестких рубцов. Вспаханные шрамами щеки краснели. Значит, в них еще текла, играла кровь.

Один поцелуй в щеку, другой поцелуй в щеку. На третий раз женщина резко повернула голову, и под моими губами оказался ее страшный рот без губ. И я поцеловал этот страшный рот — хотел крепко, а поцеловал нежно, еле дыша, еле касаясь земной черной щели живыми губами. Это я землю, землю поцеловал.

И я не умер от отвращения, и сознания от гадливости не потерял.

Чудо Огня, небесная Псалтырь! Я целовал ее, взорванную, разрытую землю, живую святую книгу. Человек живет всех на свете книг, он и бессловесный стоит и глядит, как Бог, и под этим взглядом ты живешь и умираешь. Я читал эту женщину, листал ее сожженные страницы. Буквы пожрал огонь, но вместо слов дышали, двигались сизые, золотые тени. На каждом из нас, на нашем лице, на груди и плечах, на ладонях и стопах, записаны великие молитвы. Мы, живя на земле, не знаем их, не повторяем на ночь. Но, стоя во храме перед лицом Огня, мы внезапно все их, до словечка, вспоминаем. И быстро, спотыкаясь, захлеб, шепчем! И спешим выговорить, выбормотать, выпустить во тьму! Я бы тогда ребра свои, как клетку, разбил, разорвал. И выпустил огненное сердце на волю. Лети! Пой!

Я искал губами чужие губы, а их не было. Горячее дыхание вылетело из-под земли и опажнуло меня, мое склоненное лицо. Я выпрямился. Уродка по-прежнему

му круглыми неподвижными глазами смотрела на меня. Потом она попыталась закрыть глаза. На радужку напозли ошметки обгорелой кожи. С полузакрытыми глазами стояла она передо мной, маленькая, худенькая, как птица. И мне захотелось взять ее на руки и унести отсюда. На волю. На воздух. Под солнце.

Я поднял руку и пальцем осторожно коснулся ее беззубого, изрытого шрамами рта.

Радость и счастье пылали на лицах. Иконным золотом светились щеки и лбы. Все стали детьми. Или ангелами. Люди передавали друг другу Огонь, окунали лица в Благой Свет. Умывались им. Всюду вспыхивали крики: «Кирие элeисон! Боже благи! Тэр аствац! Синьоре абби пьета ди! Господи помилуй!» Все радовались и ликовали, а передо мной стояла несчастная уродка, сгоревшая однажды заживо, стояла во храме, и храм ничем не мог помочь ей, и Господь не мог.

И она смотрела на меня, будто бы я был ее Бог, Господь, сошедший к ней то ли с небес, то ли с фрески, из-под купола, то ли вышедший из клубков огня, но она руки не поднимала, не тянула ко мне, и молчало ее неподвижное бугристое лицо, и молчали совиные глаза, лишённые век.

А я смотрел на нее так, как будто я был ее блудный сын, а она моя старая мать.

О чем она думала, эта маленькая, худая, величиной с птичку, закутанная в черную шерсть, иностранная уродка? Я не думаю, что она была русская. А она не знала, какого народа я. У нас обоих там, в этом храме, не было национальностей. И, может, это было верно. Перед Богом все равны. У Бога сто имен, и Он все равно Истина.

О чем думала она, на меня глядя? Как, куда текли ее мысли? А может, она не думала ни о чем? И я тоже отключил ум: я это умел. Без мыслей, без чувств, только глубоко и правильно дыша, мы стояли друг перед другом. Нас обнимал горячий воздух, в нас бил, как в бубен, безумный от радости свет, и языки огня плясали перед нашими лицами и за нашими спинами. Так мы стали ангелами, и у нас за спиной горели и бились слепящие огненные крылья. Мы не удивлялись им. Мы, два ангела, глядели друг на друга, и храм весь гудел, и пел и кричал, и времени не стало, небеса свились в огненный свиток, и мы оба знали в нем каждую живую букву.

И я по-прежнему высоко держал руку с пучком пылающих свечей.

Воск стекал мне на пальцы, но я не ощущал ожога.

Кто-то рядом с нами, задыхаясь от радости, громко восклицал на незнакомом языке одно слово, все время повторял и повторял его. Слово било меня в лоб, так бьет кувалда в медный гонг. Потом тот же голос заполошно крикнул по-русски в огненную тьму обезумевшей от счастья церкви: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое!» Поодаль люди пели хором; они пели от радости. Радость обнимала всех, и ради этой радости надо было лететь за тридевять земель. «Спасибо, Серафимушка, спасибо, Матушка», — шептал я, сам не зная что, называя имена всех, кого любил и кто любил меня. Из-за любви я приехал сюда. Кто я? Будда, Кришна, Иисус, Иегова? Внутри еврейской земли стоит православный храм, и неужели и он стогит в грядущем огне?

Женщина, не отрывая от меня глаз, разлепила то, что прежде было ее губами. Она хотела что-то сказать.

Силилась вытолкнуть слово. Не смогла.

Ее страшное лицо люто искривилось, пошло волнами. По нему медленно, трудно расходились круги страдания, будто в него, как в горячее озеро, бросили камень.

А потом оно опять застыло. Застыли рубцы и шрамы. Ожоги сковало льдом.

Молчание накрыло это лицо прозрачным зимним пологом.

В начале было Слово? О нет. Нет. В начале было горячее дыхание. И поцелуй. И слезы.

И глаза, что, не моргая, глядят в самую сердцевину тебя, в твою первую и последнюю тайну.

И тогда я, крепко держа над головою Свет, сам наклонился к уродке.

И тихо, внятно сказал, так раздельно и понятно говорят глухим: «Я тебя никогда не забуду».

Может, она, иноземка, меня не поняла. Скорей всего, не поняла. Плевать.

Я всего лишь обычный русский юродивый, так мне всегда говорил, хохоча, Родька Волокушин, ну, я и сам это знаю давно, и сам себя таким считаю, и что в этом зазорного? Между прочим, такие люди, как я, их много на Руси. И раньше много было. Они ходили по дорогам, пророчили, проповедовали, выбрасывали всякие коленца, выделывали штучки. Их боялись, их гнали батогами, над ними издевались, на них показывали пальцами и кричали: вон, вон он идет, голый дурак! — перед ними вставали на колени и, плача, благодарили их за учебу и прозорливость. Нет, я не прозорливый; куда мне! Слишком часто я слышал от людей то, что я дурень. Сумасшедший, идиот, придурок, умалишенный. А знаете мою последнюю новость? Моя давняя армянка, та, из моей юности, из моей армии, нашла меня, прислала мне письмо, у меня на земле, оказывается, есть еще один сын, и его зовут Андрей, как и меня; моя веселая армянка забрюхатела тогда, в той брошенной ледяной избе с разбитыми зеркалами, выносила, родила и назвала ребенка в честь меня. Еще один Андрей-воробей! Гоняй, гоняй жирных ленивых голубей! На фотографии сынок мой новоявленный сильно похож на меня. Копия меня, никакой крови на анализ брать не надо, чистая работа. Вот Юрочку выпустят из тюрьмы, и мои сыны подружатся. А может, плюнут друг на друга; это уж как получится. Иногда на меня накатит, и я вдруг вспоминаю ту горячую, как головня из печи, отвязную девчонку из поезда Горький—Адлер, моего черного косматого, тощего ангелочка. Где она теперь? Иногда мне кажется, я вижу ее в городской толпе. Но зрение мое ослабло, и я могу обознаться. Да и зачем я буду окликать ее? Все, что было, все уплыло. Я сказал ей когда-то, там, под стук колес: я тебя везде узнаю. Вранье. Человек на лицо и тело с годами меняется неузнаваемо, а еще сильнее меняется его нежная теплая душа: черствеет, леденеет. А знаете, чего больше всего я хочу? Ни за что не догадаетесь. Я хочу однажды собрать котомку, вскинуть на плечо, выйти из подвала, даже не закрывать его ни на какой ключ, пусть тот, кому надо, вещичками моими попользуется, и двинуться в путь. По дорогам. По градам и всеям. Буду идти и идти, и птицы будут петь надо мной. Буду встречать людей, и добрых и злых. Злым буду говорить о добре. Добрым буду улыбаться, и садиться рядом с ними, и есть и пить вместе с ними; а потом просить их: добрые люди, дайте мне, Христа ради, маленький шматочек вашей доброй, дивной души! От вас не убудет, дайте! И они будут отщипывать от своей горячей, вкусной, тепленькой душеньки самый теплый и вкусный кусочек, и протягивать мне, и улыбаться мне. А я буду складывать чужую милостыню, чужой хлеб, чужие грязные монеты, чужие дареные самоцветы в котомку, а может, все не самоцветы никакие, а невзрачные камешки, как тот, что мне когда-то кинул Серафимушка около обители своей. Буква «М», мир! Буква «В», время! Буква «Л», люди! А может, любовь! Да, любовь. Любовь в век, когда все передрались? Эка чем удивили! Дралась всегда. В век, когда все смеются друг над другом и держат за пазухой камень, чтобы бросить в другого? И плюют другому в лицо? Любовь — вот насмешил старый дурак!

Ничего, ничего. Терпите. Я ту же стяну резинку на своем конском седом хвосте. Я буду глядеть на вас и сам смеяться над вами, неразумными, беззубые десны обнажая, а вы терпите. Молчите! Я сам умею молчать. Молчанием можно сказать гораздо больше, чем словами. Вот я вам тут все словами говорил, и что? Вы теперь все про меня знаете; да это вам только кажется, что знаете. А на самом деле я даже сам себя не знаю. И никогда не узнаю. Я, старый, беззубый, большеухий, как Будда, босой, как сам Иисус, буду ходить по пыльным и грязным дорогам и собирать в котомку души живые, мертвые уже надоели, и всех мертвых я оживить не смогу, мне бы всех живых воедино собрать, о лучшей участи и не мечтаю.

Звон доносится с дальнего храма. Звон обнимает меня. Я сижу у святого озера, идут круги по воде, я вынимаю из котомки горбушку хлеба и бутылку с водой, ем и пью. Гляжу на заходящее солнце. Над чем звонят? Над жизнью? Над чьей-то смертью? Надо мной тоже будут звонить, когда я умру. А может, не будут; я не царь, я бродяга, над бродягами не звонят никогда. Меня вчера убили, а сегодня я воскрес. Воистину? А что есть истина? Я думал, что я знаю ее. Нет. Не знаю. Да и вы не знаете. Никто не знает. Звонят в колокола, и глухие слышат. Они слышат все. А слепые все видят. Отпить из бутылки, еще глоток! О, да у меня там не вода, а водка. Глоток, и ты сыт и пьян, и нос в табаке. Еще глоток, и все узнаешь сразу. Все, что с нами будет. Любите слепых, они видят все. Любите глухих, они все слышат. Любите горьких пьяниц и бедных хромоножек на площадях ночных безумных городов — они пророчат о невозвратном.